



РАЗВОД С ДРАКОНОМ НЕ ОТПУСКАЕТ

АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬИЕВ

Александр Витальев

Развод с драконом не отпускает

«Автор»

2026

Витальев А.

Развод с драконом не отпускает / А. Витальев — «Автор», 2026

Муж-дракон выставил ее виновной в развале брака и при всех заменил другой. Нерис лишили имени, дома и права уехать, а теперь родовая печать тащит ее обратно в замок Каэрн: если она не вернется, ее младшая сестра останется без защиты рода. Она соглашается — но не как жена, а как чужая, с холодным расчетом и планом мести. Дарвен ждал покорности, а получил язвительную женщину, которая переписывает его кухню, лечебницу и реестры слуг, не спросив разрешения. Между бывшими супругами — чужие духи, ложь о наследнике, сломанный брачный договор и спальня, куда печать приводит обоих без спроса. Кто из них первым признает, что развод так и не случился?

© Витальев А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Разговор после совета	5
Глава 2. Печать на ладони	12
Глава 3. Чужие духи	19
Глава 4. Общий обед	27
Глава 5. Письмо из архива	33
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Александр Витальев

Развод с драконом не отпускает

Глава 1. Разговор после совета

Письмо лежало на столе ровно там, где его оставил советский писец, - под мокрым перстнем-печатью, на углу которого засох чужой пот. Я перечитала первую строку, потому что хотела убедиться, что не сошла с ума. Не сошла. «Виновна в развале брака». Дальше - «не родила наследника в срок», «не явилась на праздник урожая в надлежащем виде», и последнее, от чего у меня сжалось горло: «закрывать доступ к реестру, отобрать ключи, дать повозку, двадцать монет, неделю на выезд». Под этим стояла подпись дяди Дарвена, Ториса, круглая, как казенная монета.

Я аккуратно подняла страницу за угол, перевернула. На обороте тем же почерком были выписаны имена свидетелей совета. Три старика, одна племянница казначея - Инара Каэрн - и, в самом низу, рукой дарвенова нотариуса, приписка: «Приговор окончательный, обжалованию не подлежит». Значит, они даже не оставили щели для милосердия.

В кабинете пахло воском и холодной кожей. За окном давно стемнело, но свечей никто не зажег. Слуги, видимо, получили приказ не входить, и я оказалась тут одна - запертая со своей бумагой и с тишиной, в которой отчетливо слышалось, как где-то в глубине замка оседает камень после очередного обвала. Этот замок разваливался тихо, по привычке.

Я села в кресло хозяина, положила руки на его столешницу, и левая ладонь отозвалась первой - печать тлела под кожей, как будто кто-то прижал к запястью раскаленный ключ. Я сжала пальцы в кулак под столом, чтобы никто не увидел. Никто и не видел - в кабинете я была одна, и от этого сделалось только хуже.

Стук в дверь был коротким, сухим. Я не ответила, и дверь открылась сама.

- Ты здесь, - сказал он не как обвинение, не как приказ, просто как факт, который пришел проверить.

Дарвен Каэрн остановился у порога. Камзол расстегнут у горла, волосы влажные после купания, от него тянуло железом и хвоей - своим запахом, не чужими духами, и от этого сделалось большее, чем от самого письма. Я молча показала ему страницу.

- Я знаю, - сказал он. - Я голосовал против. Их было четверо, меня трое.

- Против чего? - переспросила я. - Против того, что я виновна? Или против того, чтобы меня выставить?

Он чуть помедлил с ответом, и я увидела, как у него напряглась челюсть.

- Против того и другого. Мало.

- Мало, - согласилась я. - Теперь у меня неделя.

Печать снова дернуло. Я сжала левую руку в кулак под столом, и он не опустил взгляда - смотрел на письмо. Потом подошел ближе, положил обе ладони на столешницу по другую сторону листа - как будто собирался держать оборону этого стола.

- Марта уже собирает твои вещи, - сказал он. - Я приказал не трогать лечебницу до утра.

- Лечебница и так не моя, - ответила я. - Мне отдали ключи под расписку три года назад. Ты их отобрал сразу после приговора.

Я впервые посмотрела ему в глаза, и он это выдержал. У него глаза цвета горячего янтаря, и мне всегда казалось, что в них можно разглядеть любое вранье. Сейчас в них стояла та особенная тишина, которая у мужчин его породы означает не ложь, а нежелание отвечать.

- Я могу уехать к матери, - сказала я. - Но сначала мне нужно понять одно.

- Что?

- Ты знал про подмену страницы в брачном договоре, Дарвен?

Он опустил взгляд первым. Обычно он первым отводит глаза, но не опускает. Сегодня - опустил.

- Мне доложили о ней только вчера, - сказал он. - Я не успел.

- Кто-то успел до тебя. Значит, ты знаешь, что в подмене замешан совет.

Он не опроверг, не кивнул. Только положил ладонь на письмо с моей стороны стола, не касаясь моей руки, но ближе, чем следовало. Я отодвинула письмо к себе, и его пальцы остались висеть в воздухе.

- Не уезжай к матери, - сказал он тихо.

- Ты только что лишил меня имени, дома и права практики. Куда мне еще ехать?

- Я не лишал тебя имени. Я лишал их права забрать его.

- Тогда спасибо за заботу, - сказала я. - Я поеду к матери, соберу корзину трав, и забуду этот дом, как будто его не было.

Я встала, чтобы уйти, но он не отступил. Между нами оставалось ровно расстояние вытянутой руки. Я чувствовала жар от его кожи через этот зазор и ненавидела себя за то, что чувствовала.

- Печать, - сказал он. - Ты знаешь, что она не отпустит.

- Я знаю, что бумагу о разводе мне не выдали.

- Потому что ее нет. Совет не имеет права расторгать узел. Это может только глава рода, а я его глава.

Я посмотрела на него, и впервые за весь вечер у меня перехватило дыхание. Не от страха - от злости на самоуверенность, с которой он это произнес.

- Это приглашение? - спросила я.

- Это факт.

- Это унижение.

- Это клетка, в которой я тоже сижу.

Я молча прошла мимо него к двери. У порога обернулась.

- Я не буду просить у тебя ни комнаты, ни милости, ни ключей. Я вернусь в замок только тогда, когда получу право вернуться, а не когда ты это решишь.

Он не ответил. Я закрыла за собой дверь, спустилась по ступеням во двор, где у крыльца меня ждала чужая повозка без герба. Марта сунула мне в руки корзину, в которой уже лежали сушеные травы и две чистые тетради. Я села, и печать на запястье впервые обожгла так, что кровь пошла сквозь рукав.

Я ехала к матери всю ночь. Повозка скрипела так, будто жаловалась на каждой кочке, и колесо справа держалось на честном слове кучера. Мне было все равно. Левая рука лежала на колене ладонью вверх, и я смотрела, как по рукаву расплывается темное пятно. Кровь из печати шла ровно, без боли, просто текла, как вода из треснувшего кувшина. Я затянула манжет потуже и перевязала платком, который Марта сунула мне вместе с корзиной. Платок пах кухней, лавровым листом и домом, в который меня больше не пускали спать.

Мать не плакала, когда я вошла. Она вообще давно разучилась плакать при мне, это было одно из немногих, за что я ей благодарна. Она поставила передо мной миску горячей каши, посмотрела на мою перевязанную руку, потом на корзину.

— Открывай, — сказала она. — Показывай, что привезла.

Я разложила на столе пучки сушеной мяты, коробку с лавровым листом, мешочек с истолченной дубовой корой и две чистые тетради в кожаных обложках. Мать перебирала травы так, как перебирают монеты — на вес, на запах, на звук.

— Мята подсохла, — сказала она. — Лавр передержали. Кору можно пустить только в отвар для ног, в питье нельзя.

Писец поднял перо. — Я знаю, — ответила я. — Это не на продажу. Это для Литы.

Руки матери замерли над мешочком.

— Что с Литой?

— Совет Каэрнов дал ей место подмастерья в гильдии Эрнвуда под поручительство рода. Теперь, когда меня вычеркнули, поручительства нет. Без него ее через неделю переведут в полевые лазареты.

Мать медленно выпрямилась, и я увидела, как у нее дернулась щека. Она никогда не показывала страх при мне, только усталость, а усталость я научилась читать давно.

— Ты вернешься, — сказала она не вопросом.

— Я вернусь за ключом от лечебницы и за правом сестры выходить в город. Не за ним.

— Тебя не пустят на порог.

— Пустят. Печать не даст им не пустить.

Мать посмотрела на меня так, будто впервые за долгое время увидела мое лицо целиком, без вдовьего чепца и без привычки прятать глаза.

— Тогда бери коры больше, — сказала она. — И лаврового листа свежего. У него в замке кухня считает припасы по памяти, я слышала. Если придешь с готовым реестром, тебя хотя бы выслушают.

Я не стала говорить ей, что реестр я уже держу в голове. Три года в этом доме я помнила каждую бочку, каждый мешок, каждую крынку, и сейчас это было единственное мое оружие, которое совет не мог отобрать.

Утром я привела руку в порядок сама. Промыла печать холодной водой, приложила чистую тряпицу с отваром коры, замотала туго. Кровь остановилась, но жар под кожей остался, и я чувствовала его даже через повязку. Этот жар был не мой. Он принадлежал дому, из которого меня выгнали, и теперь он тянулся ко мне через двадцать миль проселочной дороги, как нагретый камень тянется к ладони.

Днем приехал дядя. Мать встретила его в сенях, я слышала их голоса через тонкую дверь. Дядя вошел, отряхнул сапоги, посмотрел на мою перевязанную руку.

— Марта прислала записку, — сказал он, кладя на стол сложенный вчетверо лист. — Тебе предлагают условия.

Я развернула записку. Почерк был Марты, круглый и жесткий, как у поварихи, которая привыкла писать на прилавке мукой.

«Гостя с печатью. Отдельная спальня. Доступ в лечебницу для Литы. Совет не трогает Литу. Подпись главы и двух старейшин. Ключ от лечебницы на руки после голосования.»

— Кто подписал? — спросила я.

— Дарвен и его нотариус, — ответил дядя. — Торис пока нет. Остальные старики тоже нет. Марта пишет, что совет соберется через два дня, и если ты приедешь с готовым реестром по лечебнице за последний год, у тебя будет повод говорить.

— У меня есть повод и без реестра, — сказала я. — У меня есть печать.

Дядя помолчал, потом кивнул.

— Печать — это аргумент для дома. Реестр — это аргумент для совета. Поезжай с обоими.

Мать молча поставила передо мной вторую корзину, побольше, с двойным дном. Я не спрашивала, откуда она знала про дно. Она всегда знала, что мне нужно, еще до того, как я сама понимала. В корзину я положила мяту, лавр, кору, обе тетради и тонкую папку, которую заранее собрала из черновиков, что вывезла с собой три года назад. Реестр по лечебнице я вела дома, для себя, когда Дарвен еще пускал меня к ребенку, и теперь эти записи были единственным, что у меня оставалось от той жизни, кроме печати.

Подкладку корзины я прощупала пальцами — ровная, плотная, кожаная, как обещала мать. Туда я спрячу подмененную страницу договора, если успею найти ее снова. Без нее совет не даст мне ни комнаты, ни ключа, ни права на сестру. С ней — будет чем торговаться.

К вечеру я сидела у окна и смотрела, как во дворе гаснет свет. Печать под повязкой тлела ровно, без вспышек, как уголь в золе. Я положила здоровую руку на корзину, и мне показалось, что дно под пальцами чуть теплее, чем должно быть. Будто корзина уже знала дорогу обратно.

Я переступила порог собственного дома за три часа до рассвета, потому что ждать было нельзя. Мать дремала в кресле, укрытая пледом, дядя уехал еще ночью. Я поставила корзину на лавку, сняла плащ, стянула повязку с запястья. Кожа под ней горела ровно, без пульса, и линия печати стала отчетливее, будто кто-то прошелся по ней иглой заново.

В корзине я нашла двойное дно так, как и обещала мать: тонкая кожаная петля, медная пряжка, под ремнем — пусто. Я разложила на столе тетради, достала из-под них тонкую папку с черновиками реестра, разгладила ладонью. Записи были мои, трехлетней давности, когда я еще имела право входить в лечебницу и считать, сколько ушло истолченной коры, сколько лаванды, сколько чистой ткани на повязки. Почерк у меня тогда был другой, круглый и торопливый, сейчас стал мельче и злее. Я перечитала первую страницу и вспомнила запах той комнаты: сухой шалфей, спирт, нагретый камень у печи. Тогда меня туда пускали, потому что я была женой. Теперь меня туда пустят, потому что без меня там некому считать.

Мать проснулась от звука задвигаемого ящика. Она вошла на кухню в ночной рубашке, с лицом, на котором не было ни сна, ни покоя, и молча поставила на плиту чайник. Мы не говорили. Она резала хлеб, я писала в тетради новый список того, что нужно купить в дорогу.

— Ты поезжай через восточный мост, — сказала она наконец. — У Ториса там привычка ставить соглядатаев, но через мост ездят только свои.

Радан не перебил. — Я знаю, мам.

— И не бери с собой Литу. Пусть пока посидит у тетки Марты, у нее в доме совет не сунется.

В комнате снова стало тихо. — Я знаю.

Она поставила передо мной кружку, села напротив и впервые за день посмотрела мне в глаза.

— Ты вернешься не за ним, — повторила она мои слова. — Я слышала. Но если ты вернешься к нему с этим лицом, совет решит, что ты вернулась за ним.

— Я привезу другое лицо. Лицо человека, который умеет считать.

Мать впервые за утро чуть улыбнулась. Улыбка у нее была короткая, почти злая.

Я допила чай, затянула корзину ремнем, накинула плащ. На пороге остановилась, потому что услышала за дверью чужое дыхание. Мать тоже услышала, мы переглянулись. Дверь открылась без стука, и в сени вошел Ланн — собственной персоной, бледный, в мокром от измороси плаще, с каплями на коротко стриженных волосах. Он не говорил, он никогда не говорил, но в руках у него был узел из серой ткани, а в узле — что-то плоское и тяжелое.

Он положил узел на лавку, развернул. Под тканью лежала страница брачного договора, подшитая неправильно, с обрезанной подписью свидетеля и чужой пометкой на полях. Я узнала эту страницу сразу, потому что три года назад подпись на ней ставил мужчина-лекарь, который принимал у меня ребенка. Лекаря этого в замке уже не было, совет вычистил его следы, а страница осталась у Ланна, потому что Ланн с тех пор не выбросил ничего из кабинета главы рода.

Ланн смотрел на меня, не мигая. Я видела, как у него подрагивают пальцы, и понимала, чего ему стоило прийти сюда ночью. Я взяла страницу, положила под подкладку корзины, застегнула пряжку. Ланн кивнул и ушел так же тихо, как вошел.

Мать закрыла за ним дверь.

— Это что было? — спросила она.

— Подарок, — ответила я. — С процентами.

Печать на запястье вспыхнула, как только мои пальцы коснулись подкладки. Коротко, без боли, словно узел признал, что я везу в дом что-то настоящее. Я стиснула зубы и подхватила корзину. До рассвета оставалось два часа.

Я пошла в конюшню, сама запрягла лошадь, потому что конюх спал, а будить его не хотелось. Лошадь была сонная, теплая, пахла сеном и навозом, я гладила ее по шее, пока затягивала подпругу. Потом села в повозку, положила корзину между колен и тронула поводья.

Дорога шла вдоль реки, и в темноте я слышала, как под колесами шуршит гравий. На восточном мосту никого не было, мать оказалась права. У развилки я остановилась, достала из-под подкладки страницу, развернула и перечитала пометку на полях. Чужая рука, мелкая, с нажимом, дата ложных родов. Я знала, чья это рука, и от этого знания внутри стало холодно и ясно.

Я сложила страницу обратно, застегнула пряжку и поехала дальше. К замку Каэрн я должна была подъехать с рассветом, чтобы успеть к открытию ворот и встретить Дарвена у лестницы, пока совет еще не рассядется по местам. Я ехала и считала в уме, сколько ступеней от ворот до его кабинета, и эта простая арифметика держала меня крепче, чем любое обещание, которое я могла себе дать.

Ворота открыли со скрипом и оттяжкой. Привратник был чужой, не тот сонный старик, что встречал меня три года назад. Он посмотрел на корзину между моих колен, на мокрый плащ, на повязку, просвечивающую красным, и не сказал ни слова. Я спешила сама, повела лошадь под уздцы к колодцу и только там подняла лицо к замку.

Дом стоял темный, кроме одного окна в правом крыле. Кабинет главы рода горел всю ночь, и это была не моя привычка — это была его. Я знала, что он не спит и не правит отчеты, а просто сидит за столом, потому что в эту ночь и ему тоже никто не принес ответа.

Корзину я не бросила у ворот. Это было бы подачкой. Я поставила ее на лавку у конюшни, сняла ремень, повесила на крюк, поправила медную пряжку так, чтобы блестела ровно. Потом закатала рукав плаща до локтя и показала привратнику печать: красная, воспаленная, с каплей сукровицы под повязкой.

— Доложу, — сказал он.

— Не нужно. Я сама.

Он посторонился. У подножия лестницы стояла Марта с тряпкой в руках. Она не ложилась всю ночь, я видела это по ее лицу.

— Госпожа, — сказала она тихо.

— Не госпожа, Марта. Гостья.

— Гостья с корзиной, — поправила она и впервые за сутки улыбнулась одним уголком рта. — Я так и знала.

Я поднялась по ступеням. Их было семнадцать от ворот до его двери, я считала их в темноте и не сбилась ни разу. На площадке пахло дымом и хвоей. Дверь в кабинет была открыта, через щель тянуло жаром.

Я вошла без стука.

Дарвен Каэрн сидел за столом в расстегнутом вороте, с пером, которое он так и не обмакнул в чернила. На столе лежали счета, залитые мукой и воском, и мой собственный дневник реестра — открытый на той странице, где я когда-то писала итог месяца. Он смотрел на него, и я поняла, что это первое, что он раскрыл, когда остался один.

Он поднял голову. Печать на моем запястье вспыхнула, но больно не стало, стало тепло и ровно, как будто узел признал меня здесь законной. Я сделала шаг и положила ладонь на стол — не на его руку, на дерево.

— Меня впустили, — сказала я. — Я вхожу в замок как гостья с печатью. У меня корзина трав, отдельная спальня и доступ в лечебницу для сестры. Совет не трогает Литу. Утром я пересчитываю реестр, и вы все подписываете каждую снятую мной цифру.

Он молчал. Тень под его глазами была лиловой, почти синей. Я не стала садиться. Стояла у стола и ждала, пока он сам подвинется к своему перу. Он понял. Перо легло в чернильницу, бумага сдвинулась к краю, между нами стало ровно столько дерева, сколько нужно для сделки.

— Это не мирение, — добавила я. — Это сделка.

— Ты вернулась, — сказал он тем голосом, который я не любила. Тихим. Опасным.

— Меня впустили. Я вхожу в замок как гостья с печатью. У меня корзина трав, отдельная спальня и доступ в лечебницу для сестры. Совет не трогает Литу. Утром я пересчитываю реестр, и вы все подписываете каждую снятую мной цифру.

Он смотрел на меня и не спешил с ответом. Я знала эту паузу: он считал, во сколько ему обойдется каждое мое слово.

— Условия, лорд Каэртн, — сказала я.

— Гостья с печатью. Спальня в западном крыле, не в восточном, — он сделал паузу. — Туда печать тебя не пустит, я проверял.

Я кивнула. Это было честно, и от этой честности у меня свело скулы. Он проверял мою печать, пока меня не было в замке. Он сидел в этой комнате, ночью, один, и трогал заклинание, которое меня к нему привязывало. Я не знала, злость это или благодарность, и решила, что узнаю позже.

— Лечебница, — продолжил он. — Доступ с утра, под мою ответственность. Лита приходит только в сопровождении ключницы Марты или твоим. Без приема крестьян, пока совет не разрешит.

— Без приема крестьян я не согласна. Иначе я не открою лечебницу, и твоему реестру некого будет лечить.

Он откинулся на спинку кресла. Я видела, как у него двигаются желваки.

— Прием крестьян раз в неделю, по средам, с письменного разрешения главы рода, — сказал он наконец. — Я подпишу.

— И копия разрешения лежит в лечебнице, под стеклом, — добавила я.

— Под стеклом, — согласился он.

Я подвинула к нему чистый лист. Он взял перо, обмакнул в чернила и написал три строки. Почерк был твердый, ровный, без наклона. Такой почерк бывает у людей, которые привыкли подписывать чужие судьбы. Ничего, привыкнет подписывать мои.

Я взяла лист, положила в свою корзину поверх трав, не под подкладку, а сверху, чтобы любой, кто захочет проверить, видел: вот разрешение. Вот его рука. Вот цена, которую он заплатил за то, чтобы лечебница снова открылась.

— Утром, — сказала я, — я приду к тебе с реестром. Будет шумно. Будет грязно. Будут слезы эконома Брана, потому что он воровал, а я умею считать.

Я перевела взгляд на лист. — Я знаю, что ты умеешь считать, — сказал он.

— Тогда тем более.

Я повернулась к двери. У порога остановилась, потому что печать снова дернуло, и в этот раз больно. Не сильно, как иглой, но достаточно, чтобы я поняла: узел запомнил, что я в этой комнате одна, а он за столом, и расстояние между нами неправильное.

— Дарвен, — сказала я, не оборачиваясь. — Если ты тронешь Ланна, я увезу сестру и уйду. Печать пусть лопнет.

Я вышла, не дожидаясь ответа. В коридоре пахло хвоей и дымом, мне нужно было пройти мимо его спальни, мимо двери в восточное крыло, мимо лестницы, чтобы добраться до своей новой комнаты. Я считала шаги, чтобы не думать о том, что он сейчас сидит за моим реестром и впервые за три года видит, как много я здесь сделала.

В западном крыле было тихо. Марта ждала у двери с ключом и одеялом. Она не сказала ни слова, просто отперла дверь, посторонилась и положила ключ мне в ладонь. Ключ был теплый, как будто его держали в руках.

Я зашла, закрылась на замок, опустила корзину на пол и только тогда позволила себе опуститься на кровать. Печать ныла ровно, без вспышек, и я впервые за сутки почувствовала, что у меня есть стены.

Утром я открою реестр. Утром он увидит, сколько стоило его молчание. А сейчас я просто посижу тихо и подожду, пока рассвет перестанет быть моим врагом.

Глава 2. Печать на ладони

Ключница Марта положила связку на стол и отошла, не глядя в глаза. Три железных крючка, два медных и один серебряный с гравировкой рода Каэрн — мой ключ от лечебницы. Я знала его по царапине у бородка, которую сама оставила три года назад, когда совала ключ за пояс, не желая таскать кольцо на мизинце. Связка лязгнула о дуб, и у меня сжалось горло так, словно я три дня молчала.

— По уставу, — сказала Марта, и я услышала, как она подбирает слова из тех, что положено говорить при выдворении. — Бывшей жене ключей не положено. Совет решил.

Я не двинулась с места. Рукав платья был мокрым от снега, под ним кожу жгло, и я понимала, что стоит мне наклониться — кровь пойдет сквозь ткань. Не потому что я боялась вида, а потому что дом Каэрна и так знал о моем позоре больше, чем имел право.

— Я не возьму ключ, — ответила я, — если мне не дадут взамен право выехать.

Марта подняла голову. В первый раз за этот час она посмотрела на меня как на человека, а не на запись в реестре.

— Ты не выедешь, — сказала она тихо. — Я не пущу.

— Ты не ключница дома, Марта, ты ключница советской залы. Тыпустишь, если совет прикажет.

Она промолчала. В этом молчании я услышала все, что она не решалась произнести вслух: что совет приказал, и что Торис Каэрн лично расписался в книге выдачи ключей, и что ключ лежит на столе не как подарок, а как бумага о разводе. Я подняла связку, повертела в пальцах, и серебряный ключ оказался у меня в ладони. Тяжелый, холодный, с моей царапиной. Я положила его обратно.

— Не возьму, — повторила я. — Мне нужен мой, а не хозяйский.

В коридоре пахло воском, хвоей и чужими духами, которых я здесь раньше не слышала. Инара Каэрн — племянница королевского казначея, новая невеста лорда — шла мне навстречу с чашкой в руке, улыбаясь так, словно мы виделись вчера на рассвете, а не три месяца назад у алтаря, где ее поцелуй с Дарвеном при мне был лишь слухом. Улыбка у нее была мягкая, участливая, и я знала цену этой мягкости.

— Нерис, — сказала она, — совет решил по справедливости. Тебе дадут повозку и двадцать монет. Ты уедешь к матери, и дом Каэрна тебя не тронет.

Я не ответила. Запястье обожгло так, словно кто-то прижал к коже раскаленный браслет, и я сжала зубы. Не от боли — от ярости, потому что боль эта была не моей. Она была их, совета, Ториса, Инары, всех, кто сидел за длинным столом и голосовал за мой позор, даже не повернув головы в мою сторону.

— Печать на мне, — сказала я, и голос у меня был тихий, ровный, каким я говорю, когда хочу, чтобы собеседник сам договорил глупость. — Бумага совета не закрывает брак. Вы это знаете.

Инара моргнула. Улыбка осталась, но под ней впервые мелькнуло что-то живое — расчет.

— Магия не в счет, — ответила она. — Решает совет.

Тогда из-за угла вышел Дарвен. Не один — с Торисом, который нес под мышкой реестровую книгу, и с двумя старейшинами, которые выглядели так, будто не спали ночь. Дарвен посмотрел на меня, и я впервые за этот день увидела в его глазах не холод, а усталость.

— Ты вернулась, — сказал он.

Три слова. Голос у него был такой, каким он говорил со мной в первый год брака, когда мы еще не знали, как будем врать друг другу, и просто молчали рядом. У меня сжалось горло. Я не дала себе этой роскоши — замереть, вспомнить, поддаться.

— Я пришла за ключом, — ответила я. — Мне отказали.

— Ты пришла за ключом, — повторил Торис, раскрывая книгу на столе, — а уезжаешь с ожогом.

Он знал. Они все знали. У меня кровь пошла сквозь рукав, и Марта отвернулась к стене. Дарвен шагнул ко мне, и я увидела, как его рука дернулась к моему запястью — не помочь, а проверить, потому что печать была и на нем тоже. Я отступила на полшага.

— Не трогай, — сказала я. — Я уезжаю к матери. Мне нужна неделя.

— Неделя дана, — ответил Торис. — Но печать за это время войдет в полную силу.

Я кивнула. Повозка ждала во дворе, двадцать монет лежали в кошельке у Марты, и я знала, что без рода Каэрн мою сестру Литу через месяц сошлют в полевой лазарет, потому что поручительство за нее держал совет, а не я. Я взяла связку со стола — всю, не только свой ключ — и положила обратно. Один серебряный оставила.

— Это мой, — сказала я. — Остальные верну.

Во дворе пахло мокрым снегом, конским потом и железом. Я села в повозку, натянула рукав ниже, чтобы кровь не капала на сиденье. Печать на левом запястье пульсировала в такт сердцу, и я впервые за этот день поняла, что еду не к матери за советом, а за правом решить, возвращаться ли в дом, откуда меня только что вычеркнули.

Дорога от Каэрна до дома Вельт занимала полдня, если не увязать в раскисшей глине подъезда. Я успела трижды перетянуть рукав платка ниже запястья, пока кровь не пошла на подол, и дважды остановить повозку, потому что печать пульсировала так, словно под кожей была вторая вена. Лошадь всхрапывала, водитель молчал — ему хорошо платили за то, чтобы не задавал вопросов, и он свою работу знал.

У матери я сняла с пальца браслет развода, который Дарвен велел надеть в последний вечер в замке, и положила на стол. Тонкий, серебряный, с гербом Каэрнов — подарок на свадьбу, превращенный в ошейник. Мать посмотрела на браслет, потом на меня, потом снова на браслет. Седая, сухая, с тем же ртом, что и у меня, она молчала долго, и я знала, о чем она думает: что браслет вернулся в ее дом не потому, что зять расщедрился.

— Лита, — сказала я. — Что с ее поручительством в гильдии Эрнвуда?

Мать отставила чашку. Движение было таким аккуратным, словно она боялась, что я задену столешницу и фарфор расколется раньше, чем разговор.

— Без рода Каэрн, — ответила она, — совет гильдии передаст ее в полевой лазарет. Это уже решено. Дядя письмо получил вчера.

Я села. Стул подо мной скрипнул, и я вдруг поняла, что сижу в той же кухне, где меня учили варить отвар от лихорадки, где я первый раз зашивала рану на руке Литы, когда та упала с лошади. Здесь пахло чабрецом, сухим деревом и старой ржавчиной от ведра. Здесь меня никто не стер из реестра. Здесь меня даже слышали.

— Откуда ты знаешь про лазарет, мама?

— Твой дядя сказал. Он в совете гильдии сидит с лета.

Я кивнула. Дядя хорошо сидел — на двух стульях сразу: и в роду Вельт, и в гильдейском совете, и в той памяти, которую род Каэрн ему задолжал за старые услуги. Я подняла рукав. Печать кровоточила уже не алой, а темной, сухой — запеклась коркой, но края ее горели. Мать охнула, я перехватила ее руку на полпути.

— Не трогай. Она реагирует.

— На что?

— На расстояние.

Мать отняла руку. Я видела, как она перебирает варианты: лечь в постель, вызвать травницу, послать за Дарвенном, написать Торису. Ни один из них не годился, и она это понимала.

— Ты вернешься, — сказала она. Это был не вопрос.

— Да. Не за ним. За Литой.

— И за ключом, — добавила мать, и я услышала в ее голосе то, что она не решалась произнести вслух: расчет. — Без ключа от лечебницы Каэрна тебя в Эрнвуд не возьмут, а без Эрнвуда Лита пропадет.

Я не ответила. Я поднялась из-за стола, подошла к окну, за которым валил снег. На подоконнике лежала моя старая корзина трав — кожаный ремень стерся, медная пряжка позеленела, но двойное дно держалось. Я открыла его, вытряхнула засохший пустырник, который мать хранила с прошлой зимы, и убрала платок, которым перетягивала руку в дороге. Печать в корзине не отозвалась, и я впервые за день выдохнула спокойно: расстояние работало, пока я держалась от Каэрнов дальше, чем на полдня пути.

Из сеней потянуло холодом и голосом Литы. Младшая сестра вошла в кухню, как входила всегда — будто весь дом принадлежал ей по праву рождения, и я только одалживала место.

— Нерис, — сказала она, замерев в дверях. Плащ мокрый, волосы убраны небрежно, на щеке след от вчерашней то ли прыщика, то ли царапины. — Тебя выгнали?

— Меня вычеркнули.

— Это одно и то же.

— Нет, — ответила я, и у меня в горле впервые за этот день стало ровно. — Одно унижение, другое процедура. Тебя это различает.

Лита подошла ближе. Она выросла за лето, раздалась в плечах, и я вдруг увидела перед собой не девочку, которая просила у меня зашить рану, а девушку, которая считает, сколько дней осталось до первого сезона в гильдии. В ее глазах было то, что я видела у всех Вельтов в день свадьбы: голодная вера в то, что чужая удача когда-нибудь станет своей.

— Я уеду назад, — сказала я, и это прозвучало не обещанием, а решением, которое я уже приняла без нее. — Но с условием. Мне нужен ключ от лечебницы Каэрна. Не совещаться, не просить — получить. И мне нужно право выписать тебя в город к гильдии под мою ответственность. Не под ответственность рода.

Лита перевела взгляд на мать. Та отставила вторую чашку и кивнула: не мне, дочери.

— Считаю, что тебе дали неделю, — повторила я слова Ториса, и они зазвучали в моем рту уже как срок, не как милость. — Если я вернусь без ключа, я вернусь за тобой, увезу в Вельт, и пусть род Каэрна сам объяснит гильдии, почему их опозоренная невестка не имеет права подписать поручительство за сестру.

Мать закрыла лицо рукой. Лита стояла прямая, злая, красивая той красотой, которую я когда-то унаследовала и потеряла вместе с фамилией. Я положила руку на корзину, почувствовала под ладонью холодок металла пряжки, и подумала: вот цена, которую я плачу утром, — ключ, право, сестра, браслет на столе. Вот цена, которую я плачу вечером, — корзина, печать, чужой дом, чужие глаза у дверей.

Я натянула чистый рукав поверх корки и пошла обратно к повозке. Снег валил гуще, лошадь фыркнула, возница натянул вожжи, и я впервые за этот день подумала не о том, как переживу возвращение, а о том, сколько раз еще смогу так уехать, пока печать не войдет в полную силу и не сожжет меня через одежду, через стены, через всю ту решетку, которую дом Каэрна выстроил вокруг моего собственного имени.

Ключ лежал у меня в корзине под двойным дном, потому что класть его в карман я не рискнула: ткань промокла бы, кожа бы остыла, и печать на запястье снова напомнила бы, что я везу чужое. Ключ от лечебницы Каэрна — железный, тяжелый, с гравировкой родового знака — я сняла с пояса Марты в первый же вечер после возвращения, когда та отвернулась к плите. Марта сделала вид, что не заметила. Это было частью нашей с ней сделки, которую мы никогда не произносили вслух: она не спрашивает, зачем мне ключ среди ночи, я не спрашиваю, почему она его носит не на поясе, а в кармане передника. Так устроены женщины, которые вместе пережили чужой дом: одна крадет чужое, другая отворачивается, обе делают вид, что это не кража, а порядок.

Я пересчитывала реестр лечебницы. Свечной огарок оплыл на треть, пальцы пахли чернилами и сухим шалфеем, за окном лежал тот мокрый снег, который к утру превратится в ледяную корку. Я вела тетрадь с первого дня возвращения: синяя обложка, кожаный корешок, без герба, без имени. На первой странице — столбцы: кто пришел, что выписано, что осталось в ящике, что ушло в кухню, что продано на сторону. Последний столбец я завела сама, потому что именно там обнаружила дыру, которую Бран заделал своей памятью.

Настойка пустырника. Дорогая, на винном спирту, для старческих сердец. По реестру — шестьдесят склянок за год. По факту — двадцать две. Остальные ушли в кухонный шкаф, оттуда — на ярмарку в Эрнвуд, оттуда — в карман Брану. Я пересчитала счета, нашла подмену и молча положила тетрадь на стол. Бран краснел до корней волос, пока я объясняла ему цифры. Он не спорил. Он знал, что я знаю. Это была не ссора, это была сверка.

Печать на запястье к вечеру притихла: видимо, расстояние до замка стало меньше, и она сочла, что я на своем месте. Я не была на своем месте. Я была в чужой лечебнице, в чужом халате, с чужим ключом в корзине, и дверь за мной закрыл не хозяин, а человек, который три года назад при всех назвал меня виновной.

Шаги в коридоре я узнала раньше, чем услышала имя. Дарвен Каэрн ходил так, будто пол перед ним должен сам расступиться, и каменные плиты послушно молчали. Он остановился у порога лечебницы, не вошел, оперся плечом о косяк. Свеча в коридоре бросала ему на лицо рыжий отблеск, и я впервые за этот день увидела, что у него синяк у рта — от совета, не от кулака.

— Ты считаешь, — сказал он. Не спросил.

— Я считаю, — ответила я, не поднимая головы. — И нахожу.

Он шагнул внутрь. Лечебница была маленькой, и в ней сразу стало тесно: он пах железом и холодной золой, я пахла чернилами и настоем коры, и эти запахи не смешивались, а спорили. Он посмотрел на тетрадь, потом на ключ у моего локтя, потом на мое запястье, где рукав был закатан до локтя, потому что в лечебнице жарко.

— Это мой ключ, — сказал он.

— Это ключ от лечебницы, — поправила я. — Я его взяла у Марты, потому что без него мне не открыть дверь, за которой я работаю на твой род.

— Ты работаешь не на род, — сказал он, и я услышала в его голосе ту интонацию, которую он всегда прятал за приказом. — Ты работаешь на сестру.

— Я работаю на сестру, — согласилась я. — Поэтому я считаю, а не торгуюсь.

Он подошел ближе. Я не отодвинулась, но и не подалась навстречу, и он остановился в шаге, как человек, который помнит, что между нами лежит не пол, а три года позора. Его рука поднялась — я видела это боковым зрением — и замерла на полпути к моему запястью.

— Покажи печать, — сказал он тихо.

— Нет.

— Нерис.

— Нет, — повторила я, и в голосе не было ни просьбы, ни мольбы, только то, что я носила в себе весь день: решение, принятое без него. — Я показала ее совету три года назад, когда меня судили. Теперь я ее не показываю никому.

Он опустил руку. Я перевернула страницу тетради и обмакнула перо. Свеча трещала, снег за окном ложился гуще, и между нами в маленькой лечебнице стояло то, что стоит между бывшими: не любовь, не ненависть, а молчание, которое слишком хорошо знает, о чем они не говорят.

— Завтра я выпишу Лите пропуск в город, — сказала я, не глядя на него. — Под мою ответственность. Совету скажешь сам.

Он кивнул. Я услышала, как он сделал шаг к двери, потом остановился.

— Я не забуду, — сказал он.

— Это твоя работа, — ответила я. — Не забывать.

Он вышел. Дверь осталась приоткрытой, и в щель потянуло коридорным холодом. Я закрыла тетрадь, положила ключ обратно под подкладку корзины и долго смотрела на пустую страницу, которую мне еще только предстояло исписать.

Я задула свечу и в темноте лечебницы услышала, как дом снова задышал. Это всегда начинается одинаково: скрипнет балка, осыплется зола в камине, и где-то внизу, под каменным полом, лягнет цепь, к которой привязывают собак, когда в замке ночной обход. Я знала эти звуки наизусть, потому что три года назад засыпала под них, и три года назад же перестала считать их своими.

Печать на левом запястье к ночи разошлась. Сначала кольнуло в кости, потом пошло по венам вверх, к локтю, потом к плечу. Я закатала рукав и увидела то, чего боялась: знак рода Каэртн, который три месяца висел бледной полоской, теперь наливался красным, как свежий ожог. Кожа вокруг побелела, потом порозовела, потом пошла волдырями, и я впервые в жизни почувствовала, как магия рода бьет через ткань, через кожу, через мое собственное тело.

Я зажмурилась и прижала ладонь к груди. Жар шел волнами, и каждая волна была тяжелее предыдущей. В голове всплыло лицо Дарвена там, в лечебнице, час назад: его рука, замершая на полпути к моему запястью, его голос, когда он сказал «покажи печать», его глаза, в которых я не увидела приказа — только ту виноватую осторожность, которую он прятал за бровями, как другие прячут монеты в перчатке. Мне стало стыдно, что я не показала. Мне стало зло, что я вообще об этом думаю.

Повозка ждала у задних ворот. Возница был пожилой, молчаливый, из тех, кого дом нанимает для ночных выездов, когда нужно вывезти что-то, о чем утром лучше не вспоминать. Я положила корзину на сиденье, забралась следом и натянула плащ на обожженную руку. Возница тронул поводья, и лошадь пошла по подмерзшему снегу, хрустя, как по битому стеклу.

До дома Вельт было четыре часа пути. Я знала, что мать не ляжет, пока не услышит стук колес, и знала, что Лита тоже не ляжет, но по другой причине: она будет стоять у окна в своей новой блузке, в которой ходила на праздник урожая, когда совет вычеркнул меня из реестра, и смотреть на дорогу, чтобы первой увидеть, вернусь я или нет. Я надеялась, что она увидит меня раньше, чем я увижу ее глаза.

Печать горела всю дорогу. К рассвету боль стала такой, что я не могла держать вожжи, и возница забрал их у меня молча, без вопросов. Я откинулась на сиденье и смотрела, как светлеет небо над кряжем. Снег перестал, и в просвет между тучами выглянуло зимнее солнце, холодное и чужое, как лицо человека, которому ты когда-то верила.

Дом Вельт стоял на отшибе, у самой опушки, и от него пахло хлебом и дымом, как всегда, когда мать не ложится. Я сошла с повозки, и ноги мои не держали: печать забрала столько жара, что меня знобило, и плащ не спасал. Мать вышла на крыльцо, увидела меня, остановилась. Лита выглянула из-за ее плеча, и я увидела на лице сестры то, что боялась увидеть: не радость, не облегчение, а тот самый расчет, который я знала по совету Каэртов.

Я подняла руку. Рукав сполз сам, и мать ахнула, а Лита побледнела. Печать на моем запястье была теперь не полоской, а знаком, вдавленным в кожу, как клеймо. Он горел ровным красным светом, и от него, казалось, идет пар, хотя на дворе был мороз.

— Он не отпустил, — сказала я. Это был не вопрос. Это был ответ на все, что мать хотела спросить и не решалась.

— Садись, — сказала она, и я впервые за этот день села туда, где меня ждали.

Внутри пахло пирогами и полынью. Мать усадила меня к печке, сняла плащ, увидела руку, закусила губу. Лита стояла в дверях, и я видела, как она смотрит на мое запястье, и понимала, что она уже прикидывает, что это значит для ее места в гильдии Эрнвуда.

— Мне нужно вернуться, — сказала я, глядя в огонь. — Не за ним. За вами.

Мать молчала. Лита переступила с ноги на ногу и спросила:

Печать не отпускала до рассвета. Я не спала — лежала на узкой кровати в своей прежней комнате, слушала, как мать ворочается за стеной, и смотрела, как красный отсвет на запястье пульсирует в такт сердцу. К полуночи жар спустился вниз, к ладони, пальцы свело, и я прижала руку к груди, чтобы хоть немного унять боль. Лита так и не легла. В щели под дверью я видела свет свечи в ее комнате и слышала, как она шелестит бумагой — пишет.

Утром мать разогрела вчерашний пирог, заварила полынь, поставила передо мной миску и села напротив. Я ела молча. Лита вышла из своей комнаты босиком, в ночной рубашке, и видно было, что она не спала: под глазами лежали тени, волосы она не собрала.

— Покажи, — сказала она вместо приветствия.

Я молча закатала рукав. Печать уже не горела, но знак стал четче, глубже, и кожа вокруг порозовела, как после ожога утюгом. Лита смотрела долго, потом подняла на меня глаза.

— Значит, совет все-таки не отвязал тебя, — сказала она. В ее голосе не было ни злости, ни жалости, только расчет, и от этого мне стало хуже, чем от боли. — Они вычеркнули твое имя, но магия знает другое.

— Я возвращаюсь, — повторила я. — Сегодня.

— Зачем? — Лита села за стол, намазала себе хлеб, откусила и стала жевать, глядя на меня. — Чтобы опять стоять в передней у дверей, через которые тебя выгнали?

— Чтобы ты осталась в городе подмастерьем у Эрнвуда, а не поехала в полевые лазареты, — сказала я. — Пока совету будет нужен мой род, тебе не тронут.

Мать поставила передо мной чашку. Руки у нее дрожали, и чашка звякнула о блюдце.

— Ты три года молчала про это, — сказала она тихо. — Почему сейчас?

— Потому что раньше я могла уехать. Сейчас не могу.

Лита перестала жевать. В глазах у нее появилось что-то, чего я не видела с детства: не обида, не страх, а та самая злость, которая была у меня самой, когда мне было шестнадцать и я впервые поняла, что дом — это не защита, а клетка.

— Ты будешь жить в замке его лорда, с печатью, которую нельзя снять, и думать, что делаешь это ради меня, — сказала она медленно. — А он снова будет решать, когда тебе войти и когда выйти.

— Он не будет решать, — ответила я и впервые за утро посмотрела ей в глаза. — Я буду решать. Я приеду, войду в лечебницу, открою прием для детей, отчитаюсь за каждую трату, и совет получит меня обратно не как опозоренную жену, а как человека, без которого их лечебница сгниет за зиму.

Тишина повисла над столом. Мать смотрела на свои руки. Лита — на меня.

— Он тебя не защитит, — сказала она наконец. — Ты знаешь это лучше меня.

— Я и не прошу его защищать, — сказала я. — Я прошу совет считаться со мной. Для этого мне не нужна его защита. Мне нужна его печать.

Лита отложила хлеб. Мать встала, убрала со стола, и я слышала, как посуда стучит в ее руках громче обычного. Потом она подошла ко мне, наклонилась и поцеловала меня в висок. От нее пахло хлебом и полынью, и этот запах стоил всех заверений, которые она не могла мне дать.

Повозка ждала у крыльца. Возница был другой — молодой, рыжий, с обветренным лицом; видимо, мать подняла кого-то из деревни. Я взяла корзину, положила в нее узелок с пирогами и села на сиденье. Лита вышла на крыльцо в наброшенной шубе, босая, и я впервые увидела, как она смотрит на меня не как на сестру, а как на чужую женщину, которую ей придется теперь носить в голове вместе со всеми условиями.

— Когда ты устроишься, пришли записку, — сказала она. — Мне нужен пропуск в город, а не слухи.

— Пришлю, — пообещала я.

Мать вынесла мне завернутый в тряпицу кусок козьего сыра и узелок с сушеной мятой — от лихорадки, если печать снова сорвется. Я взяла, сунула в корзину, и повозка тронулась. Лита стояла на крыльце, пока дорога не свернула к перекрестку, и только тогда я перестала оглядываться.

Обратный путь был короче — мать выбрала другого возницу, с лошастью резвее. Печать всю дорогу лежала тихо, как собака, которую не будили, и к полудню мы уже подъезжали к воротам Каэрна. Снег подтаял, с крыш капало, и стражники у ворот смотрели на меня так, будто я вернулась с того света.

Я сошла с повозки, поправила корзину на плече и пошла к замку. Мне нужно было пройти в лечебницу, оставить корзину, переодеться и до вечернего совета поговорить с экономом о реестре. В замке пахло дымом и мокрой шерстью, и я ступила на порог как человек, у которого есть цель, а не как гостя, которую впустили из милости.

— Как вернуться?

Я закрыла глаза и впервые за этот день позволила себе признать то, что знала с вечера: совет вынес мне приговор, бумага о разводе лежала в реестре Каэрнов, но печать спорила с бумагой, и в этом споре печать забирала меня первой. Я ехала к матери не за советом. Я ехала, чтобы на одну ночь стать снова дочерью этого дома, прежде чем снова стать чужой женой в чужом замке.

Утром я уеду обратно. Сейчас я сидела у печки и молчала, а мать молчала рядом, и это молчание было тем единственным, что за весь день не требовало от меня ни решения, ни цены.

Глава 3. Чужие духи

Книга дома лежала передо мной на кухонном столе, и на каждой странице кто-то дописывал число, спрятанное в общем столбце. Я вела пальцем по строке закупки тканей и видела, как между настоящими цифрами мелькают мелкие списанные суммы, а внизу стоит подпись эконома Брана. Рядом лежал мой собственный лист, я уже сутки складывала приход и расход по памяти, пока Марта сдержанно молчала у двери.

— Госпожа, — она кашлянула, — там лекарские крысы сожрали у нас шесть склянок тинктуры от лихорадки, а в книге записано, что они целы. Записаны в день, когда эконом уезжал на ярмарку в Каэрн-таун.

Я кивнула, не поднимая глаз. Шесть склянок по три серебряных монеты, это жалование Литы за два месяца в гильдии Эрнвуда, если считать плату за пансион. Мать прислала письмо с этим счетом вчера, и в письме стояла точная сумма, которую нужно внести до конца недели, иначе гильдия переведет сестру в полевые лазареты. Там зимой без крыши она до весны не дотянет.

Цифры в книге не сходились. Эконом Бран вел записи по памяти, как будто считал, что никто не полезет проверять. Я полезла. Между строк мелькала одна и та же подпись, Лотта, кухарка, которая продавала остатки пирогов на сторону и списывала их как гнилые. Лотта сейчас резала лук в углу, не глядя на меня, и я впервые видела, как она стыдливо держит нож.

— Ключ от лечебницы, — сказала я тихо. — Без него я не могу выписать сестре направление в гильдию. Там требуют не только плату, но и подпись лекаря дома Каэрн.

— Ключ у главы рода, — ответила Марта. — Или у совета большинством голосов. Старейшины соберутся после обеда.

Я закрыла книгу. Под моей ладонью осталась вмятина от страницы, где три дня назад чернилами было вписано одно число, а на следующий день другое, на полмонеты меньше. Ладонь горела. Печать на левом запястье уже не обжигала, а тянула, тонкой удушливой ниткой к той двери, за которой меня не ждали. Я прижала руку к столу и не стала трогать левое запястье.

В кухню вошел Дарвен. Мокрый плащ перекинут через руку, на воротнике запах дыма и холодной хвои. Он смотрел поверх моей головы, и это было почти вежливо. Старейшины хотели, чтобы он передал ключ лично, но одно касание к моей руке, и печать дрогнет по нему тоже, и весь дом узнает, что глава рода не отрезал узел.

— Нужна подпись, — сказала я, не вставая. — У меня в лечебнице сестра, гильдия требует направление. Без ключа я не могу зайти и выписать рецепт на ее имя.

— Совет после обеда, — повторил он.

— Совет мне откажет. Торис вчера вполне ясно дал понять маме, что без твоей личной печати под направлением Литу переведут в полевой лазарет.

Тишина стояла такая, что Лотта перестала стучать ножом по доске. Марта смотрела в пол. Дарвен подошел к столу и положил ключ рядом с книгой, медный, большой, с гравировкой рода на бородке. Не передал в руку, не коснулся. Кольцо звякнуло о дерево, и печать на моем запястье отозвалась короткой вспышкой жара под рукавом, но я даже не повела бровью.

— Подпись я пришлю, — сказал он. — На имя сестры, по твоему рецепту.

Я взяла ключ. Утром, когда я заходила в свою бывшую спальню в восточном крыле, печать не пустила меня за порог. Это была маленькая, очень понятная цена за то, чтобы вся остальная лечебница наконец ожила. Марта коротко выдохнула, будто давно держала дыхание, а Лотта неловко повернулась к плите спиной, словно прятала лицо.

Я положила ключ в корзину, под двойное дно, и сверху прикрыла пучком сухой мяты. Завтра на рассвете у меня будет направление для Литы, к вечеру счет на шесть склянок тинк-

туры, который я предъявлю Брану. Мать написала, что совет дал мне неделю на выезд, а потом закрывает двери. Я вернусь первой.

Корзина глухо звякнула о косяк, когда я входила в лечебницу. Медная пряжка больно кольнула запястье, и я по привычке переложила ношу на другое плечо. Замок на двери оказался старый, ржавый на стыке, но ключ вошел ровно, с тем тихим щелчком, который я помнила по прежней жизни. Внутри пахло пылью, сухой травой и тем особенным каменным холодком, каким пахнут пустые комнаты, где давно не варили зелий.

— Так, — сказала я вслух, чтобы собственный голос помогал держать лицо. — Сначала окна.

Я открыла обе створки. С кряжа потянуло мокрой хвоей и снегом. Я вдохнула поглубже, проверяя, не поведет ли печать. Нет, на этот раз молчала. Видимо, довольна тем, что я наконец-то в своем месте. Марта уже стояла на пороге с ведром и тряпкой, а за ней маялся Ланн, ключник с восточного крыла, без слов, с коротким жестом. Он показал на полку, где по моей памяти стояли склянки с настойкой от лихорадки. Сейчас там была только пыль и сухая мышьяная нора.

— Марта, — сказала я, — у нас сегодня будет три работы. Вернуть стеллажи к жизни, посчитать, что пропало, и составить направление для Литы в гильдию Эрнвуда. Без этого сестра до зимы не дотянет в полевых лазаретах.

Марта кивнула. Она не стала спрашивать, откуда я знаю про полевые лазареты. Она знала, что мать мне написала, и она знала, что эта мать всегда пишет правду, даже если от нее потом не уснуть. Я вытащила из корзины свою синюю тетрадь в кожаной обложке и положила на стол рядом со старой книгой дома.

Тетрадь была чистая, без герба, без родовой печати. В ней я собиралась писать только правду: сколько трав пришло, сколько ушло, кому, зачем и по чьему приказу. Если совет когда-нибудь захочет спросить, почему я опять в этом доме, у меня будет не слово против слова, а столбик цифр, вбитых в бумагу.

Ланн подал мне записку. Три строки, кривые, без подписи: «Из реестра пропала настойка от лихорадки, шесть склянок. Записано, что выдал эконом Бран по просьбе кухарки Лотты. Лотта списала их как гнилые». Я перечитала записку дважды и посмотрела на ключника. Он кивнул, один раз, тяжело, и отвернулся к окну, будто уже сказал лишнее.

— Значит, так, — сказала я. — Лотта сейчас у плиты, режет лук и делает вид, что ничего не знает. Бран на ярмарке в Каэрт-тауне, вернется к вечеру. Если я предъявлю ему счет до заката, он либо отдаст деньги, либо пойдет жаловаться в совет. Мне все равно. Марта, принеси реестр припасов за последний месяц, синюю тетрадь не трогай, это мой документ.

Марта ушла. Ланн задержался, постоял у двери, и я видела, что он хочет сказать что-то еще. Губы у него дрогнули, но он только постучал пальцем по косяку, словно передал привет, и вышел. Я слышала, как за дверью он тяжело, привычно выдохнул, так немые выдыхают после того, как стерпели чужой разговор.

Я села за стол и раскрыла синюю тетрадь. Первая строка: «Шесть склянок настойки от лихорадки, списаны Лоттой по просьбе Брана, числятся за лечебницей, на деле проданы на сторону». Число, цена за склянку три серебряных, итого восемнадцать. Ровно столько мать просила за два месяца пансиона Литы. Я приписала внизу мелко: «Совпадение». Потом подумала и взяла слово в скобки, чтобы потом не забыть, откуда оно.

За окном слышались шаги в коридоре. Я узнала эту поступь тяжелее, чем хотела признавать. Дарвен вошел без стука, и от него пахло дымом, чужими духами и холодным камнем. Я не подняла голову. Цифры в моей тетради требовали ровного дыхания, а он мог его сбить одним своим присутствием у стола.

— Под направлением стоит твоя печать, — сказал он и положил на край стола свернутый лист. — Срок до конца недели.

— Спасибо, — ответила я ровно. — Поставлю на полку, как только закончу реестр. Заодно припишу расход, чтобы совет видел, куда ушли деньги.

Он помолчал. Под его взглядом печать на левом запястье тонко потянуло вверх, к его ладони. Я машинально прижала руку к столбу стула.

— Ланн рассказал тебе про склянки, — сказал он не вопросом.

— Ланн, — ответила я, — рассказал мне то, что должен был рассказать по работе. Склянки списаны под твоей росписью в реестре Брана. Если Бран узнает, что я считаю его записи, он прибежит жаловаться Торису. Торис напомнит совету, что я гостя, и попросит меня не лезть в хозяйственные книги. Я отвечу, что лечебница это мое хозяйство, а не его. Тогда совет вспомнит, что без твоей личной печати под моим направлением Литы в гильдию не попадет. И вот мы с тобой там, где сейчас стоим, только уже втроем, с Торисом на подхвате.

— Ты снова торгуешься, — сказал он тихо. — Прямо как тогда.

— Тогда я торговалась за постель и за ключи от чуланов. Теперь за сестру и за реестр. Это дешевле, поверь.

Он отошел к окну и остановился у стеллажа, где по его росписи три месяца назад должны были стоять склянки с тинктурой. Я видела, как он посмотрел на пустую полку, и как у него дрогнул угол рта. Запах чужих духов от его ворота смешался с моими сухими травами, и у меня свело горло. Я отвернулась к тетради и дописала строку: «Шесть склянок, цена восемнадцать серебряных, заменить за счет Брана, либо за счет тех, кто их подписал».

— Бран заплатит, — сказал Дарвен, не оборачиваясь. — Я прикажу эконому вернуть долг до утра. Завтра деньги принесу тебе лично.

— Зачем тебе нести их мне лично? — спросила я, не оборачиваясь. — Ты можешь оставить у Марты.

Потому что если он положит передо мной деньги, его пальцы окажутся рядом с моими, и печать на мне отзовется. Это знала я. Это знал он. Это знал, наверное, и коридор за дверью, по которому сейчас тихо прошла Лотта. Я слышала, как она замедлила шаг возле лечебницы и прибавила его снова, у самой кухни.

— Чтобы совет видел, что я распорядился, — ответил он. — Бумагу положу на твой стол при Торисе. Он любит считать чужие деньги, пусть считает.

Я кивнула, не поворачиваясь. Он стоял у стеллажа, и запах его чужих духов все еще держался на моей полке. Я ждала, когда он уйдет. Не из страха, не из гордости, из обычного хозяйского расчета: пока его нет в лечебнице, я могу спокойно дописать в тетради имя того, кто их подписал. А имя там стояло, кривое, торопливое, Ланн его разобрал по буквам в своей записке, и оно совпадало с тем, что стояло в книге дома под росписью за выдачу шести склянок.

— Иди, — сказала я наконец. — Ланн наверху ждет тебя с ключами от кладовой. Если удержишься, он будет стучать пальцем по косяку, и весь дом решит, что у нас тут заседание.

Он хмыкнул, тихо, чуть хрипло. Почти по-человечески. Это была та интонация, которую я когда-то любила. Теперь она осталась чужим украшением на чужом голосе.

— До утра, — сказал он и вышел.

Я дождалась, пока его шаги стихнут в коридоре, и аккуратно подняла свернутый лист с его печатью. Бумага была плотная, с водяным знаком рода, и от нее пахло его чернилами. Я положила лист под двойное дно корзины, рядом с медной пряжкой, и сверху прикрыла пучком сухой мяты. Потом вернулась к тетради и дописала внизу, на полях, кривым от злости почерком: «Подпись Дарвена на направлении Литы. Получена. Срок до конца недели. Следующее, вытрясти из Брана восемнадцать серебряных, пока он не побежал к Торису жаловаться».

За окном падал мокрый снег. Марта вернулась с реестром, стукнула ведром у порога и глянула на меня. Я кивнула ей и показала глазами на пустую полку. Она все поняла без слов. Мы принялись за работу молча, как делают женщины, которых разучили плакать по чужим заботам.

К вечеру я пересчитала все, что осталось от прежних запасов. Двенадцать рулонов сукна, восемь рулонов тонкой шерсти, четыре связки льна на бинты. Для приема детей из деревни этого хватит на восемь средних приемов, потом нужно будет либо ткать самим, либо идти к Марте за добавкой. Я знала, что добавка будет, потому что после того, как Инара выйдет от Ториса, совет начнет искать, к чему придраться, и ткань станет первой строчкой в их списке. Значит, к тому времени у меня должна быть готовая ведомость, где каждый лоскуток расписан.

Ланн появился перед закатом. Он вошел боком, как всегда, когда в комнате было слишком много света, и положил на край стола маленький кожаный тубус, перевязанный шнуром. Брин тут же подхватил ведра и вышел, не дожидаясь кивка. Когда дверь закрылась, Ланн развернул шнур и вытряхнул из тубуса сложенный вчетверо лист.

Я развернула. Это была копия старой записи из реестра, сделанная его рукой, ровной, без нажима. «Нерис Вельт, двадцать восемь монет, зима, кровь после родов». И ниже, другой рукой, торопливой и незнакомой: «выдано по списку лорда».

— Чья это подпись? — спросила я тихо.

Ланн показал пальцем на верхнюю строчку. На записи стояла подпись лекаря, который принимал у меня те самые роды три года назад, тот самый, что потом исчез из замка. Под «выдано по списку лорда» стояла другая подпись, мелкая, неразборчивая. Ланн обвел ее пальцем и показал на меня, потом на запись, потом на дверь кабинета.

Я поняла. Подпись под «выдано по списку лорда» была не его. Она принадлежала кому-то из старейшин. Это означало, что лекарь действовал не один. У него был заказчик.

Я сложила лист обратно, спрятала в тубус, тубус убрала под подкладку корзины. Ланн смотрел на меня, и я видела в его лице ту самую усталость, которая бывает у людей, слишком долго молчавших не по своей воле.

— Спасибо, — сказала я. — Ты понимаешь, что теперь будет.

Он кивнул. Потом написал на клочке бумаги, крупно, печатными буквами: «Не говори ему. Сначала проверь».

— Проверю, — ответила я. — Но если совет узнает раньше, чем я соберу остальное, ты первый уйдешь из замка. Я не смогу тебя защитить.

Ланн чуть улыбнулся, первый раз за все время, что я его знала. Улыбка была короткая, как вспышка. Он вышел так же боком, как вошел.

Я осталась одна. Корзина у моих ног стала тяжелее на одну бумажку и на одну правду. Теперь я знала, что лекарь, подписавший заключение о мертворожденном наследнике, работал не один. У него был заказчик из совета. Заказчик, чья подпись стоит под выдачей лекарств.

Это меняло все. Это значило, что совет не просто закрыл глаза на подмену. Совет заказал подмену. И если заказчик сидит в совете до сих пор, он знает, что я вернулась, и он знает, что я копаю.

Я заперла лечебницу, спрятала ключ и пошла к матери. Печать на запястье грелась ровно, почти по-дружески, как будто одобряла, что я наконец-то делаю правильную вещь.

Мать сидела на кухне у печки и кормила Литу пирогом с луком. Сестра была босиком, с расчесанными мокрыми волосами, и посмотрела на меня так, будто я вошла не в свой дом, а в чужой.

— Ты была у него, — сказала мать вместо приветствия. — В доме Каэрна.

— Я была в лечебнице, — ответила я. — Это разные вещи.

— Для совета это одно и то же, — мать подвинула мне тарелку с пирогом. — Садись. У меня есть полынь и счет.

Я села. Пирог был горячий, с тонкой корочкой, и пах так, как пахнет только в этом доме. Мать налила отвар, и мы молча пили, пока Лита делала вид, что читает письмо от подруги по гильдии.

— Они сказали, — начала мать, — что без рода Каэрн сестру через неделю переведут в полевые лазареты. Это значит, что она уедет на границу, в гарнизон, где зимой нет крыши, а лекарь один на сотню. Она там до весны не доживет, Нерис. Я не пугаю, я считаю.

— Я знаю, — сказала я. — Я сегодня получила направление для нее. С печатью главы рода. Срок до конца недели.

Мать поставила чашку.

— Значит, ты вернулась.

— Я вернулась в лечебницу, — поправила я. — Это разные вещи, мама. Я не простила. Я считаю.

— Торис вчера прислал записку, — сказала мать тихо. — Через мальчишку от кухарки. Спрашивал, выпила ли ты записку Ланна про аконит. Я не знаю, что это за аконит. Я не знаю, зачем ты глотаешь чужие записки. Но если совет узнает, что ключник тебе пишет, тебя выгонят.

— Пусть узнает, — сказала я. — Пусть узнает, что я считаю их реестр. Пусть узнает, что я знаю, кто подписал выдачу лекарств для моих родов. Пусть узнает, что у меня есть направление для Литы и ключ от лечебницы. Они думали, что я уеду. Я не уехала. Я вернулась первой.

Мать долго на меня смотрела. Потом встала, поцеловала меня в висок и налила еще отвару. Лита подняла голову от письма и впервые за вечер посмотрела на меня без расчета, а просто так.

— Ты сегодня будешь ночевать здесь? — спросила она.

— Нет, — ответила я. — Я сегодня буду ночевать в лечебнице. Утром у меня прием первой смены, а совет не любит, когда лекарь опаздывает.

Мать не стала спорить. Она знала, что если я решила, значит, посчитала. Я поцеловала сестру в макушку, взяла корзину и вышла в темноту.

Корзина глухо звякнула о косяк, когда я входила в лечебницу. Медная пряжка больно кольнула запястье, и я по привычке переложила ношу на другое плечо. Замок на двери оказался старый, ржавый на стыке, но ключ вошел ровно, с тем тихим щелчком, который я помнила по прежней жизни. Внутри пахло пылью, сухой травой и тем особенным каменным холодком, каким пахнут пустые комнаты, где давно не варили зелий. Марта уже поставила на стол свечу, и при ее свете я разложила тетрадь, достала чистый лист и начала писать.

«Дети из деревни. Прием по средам и субботам. Утром, пока Брин таскает воду. Если совет спросит, отвечу, что учу сестру Литу педиатрии. Это правда. Лита действительно будет учиться. Если совет пойдет против, это будет публичный спор. Пусть объяснят крестьянам, почему их детям нельзя перевязать обожженную руку. Я думаю, совет выберет тишину».

Теон пришел на рассвете, постучал в дверь лечебницы не кулаком, а костяшкой согнутого пальца, как стучал мой отец, когда не хотел будить мать. Я не спала, но голос мне пришлось вытащить из горла, в нем было слишком много ночи.

— Открыто.

Он вошел с двумя глиняными мисками, накрытыми чистой тряпкой, и с маленьким глиняным же кувшином, от которого пахло медом и чем-то горьковатым, наверное полынью. Поставил все это на край стола, не глядя на мою койку, не глядя на корзину у изголовья. Посмотрел на каменный пол, на полку с пустыми склянками, на огарок свечи, и я поняла, что он считает то же, что считала я.

— Я не за пирогом пришел, — сказал он, и голос у него был другой, не такой, как в зале у очага. Там он говорил с людьми, которые его не слышат. Здесь он говорил со мной. — Я пришел спросить, что ты будешь делать с детьми.

— Лечить.

— Лечить кого. Я про совет. Они не разрешат.

— Разрешат. Им придется объяснять матерям, почему не разрешили. Это стоит дороже, чем согласие.

Он кивнул, не потому что согласился, а потому что понял ход мысли. Я подвинула к нему чистый лист и огрызок карандаша, который нашла в ящике стола. Он посмотрел на них как на ножи.

— Зачем.

— Потому что у меня не хватит рук. У меня корзина, у меня печать, у меня совет послезавтра. У меня нет никого, кто умеет держать ребенка так, чтобы тот не дергался, когда я накладываю повязку. Ты умеешь. Ты держал Брина, когда ему снимали швы с обожженного плеча, и он не пикнул.

Теон медленно положил руки на стол. У него были широкие ладони, с вьедшейся в кожу золой по линиям жизни, и я впервые подумала, что он, наверное, всю зиму провел у печи в кузнице. Не в замке, не при Инаре, не при Торисе. У своей печи.

— Я не пойду к совету, — сказал он.

— Тебе и не надо. Ты придешь в лечебницу в среду к третьему колоколу. Принесешь чистую тряпку и теплой воды. Если совет спросит, скажешь, что принес воду для матери с грудничком, который живет в твоём конце деревни. Это правда, если в твоём конце деревни есть мать с грудничком. Если нет, скажешь, что ошибся домом. Не ври, просто не договаривай. Совету хватит.

Он выдохнул. Я видела, как у него опустились плечи, и поняла, что он не хотел идти к совету не потому что боялся, а потому что не знал, как себя вести, если совет разрешит. Он всю жизнь был при доме, но не в доме. Ему проще было остаться при кузне.

— Я приду, — сказал он наконец.

— Тогда ешь. Это твое.

Он посмотрел на миску. В ней была та самая каша с луком, которую Лотта продавала на сторону, но сегодня без гнилой записки в книге. Я откусила хлеб. Хлеб был простой, без масла, и от него пахло печью и солью, и я подумала, что это, наверное, единственный кусок хлеба в замке, в котором нет политики.

Тут в коридоре послышались шаги. Не слуги, не Марта, не Брин. Походка была тяжелая, ровная, такая, от которой чуть подрагивает каменный пол. Я встала, не дожидаясь, и прикрыла корзину рукой. Теон поднялся тоже и встал у стены, между мной и дверью, не потому что хотел защитить, а потому что не успел придумать, куда деть руки.

Дверь открылась. На пороге стоял Дарвен.

Он был без сюртука, в одной рубашке с расстегнутым воротом, волосы мокрые после омовения, на левом запястье желтый длинный синяк, который я заметила вчера и не спросила. На костяшках правой руки содрана кожа до капли. Он посмотрел на меня, потом на Теона, и я видела, как у него чуть сузились глаза, но он не сказал ни слова про кузнеца у моей стены.

— Я принес записку, — сказал он, — не от меня. От Ланна. Он не мог войти сам.

Я протянула руку. Он положил на мою ладонь сложенный вчетверо лист, и его пальцы, холодные после умывания, на секунду задержались на моих. Я не отдернула руку, потому что у меня под рукой была корзина, а записку нужно было взять обеими руками, потому что она была сложена мокро от его пальцев и грозила развернуться. Он это понял и убрал руку.

Я развернула записку на столе, подвинув миску с кашей. Почерк был другой, не Дарвенов, не Ланнов. Я такой раньше не видела. Крупные ровные буквы, с нажимом на первой, как у человека, который пишет левой рукой по привычке.

«Госпожа Вельт. В реестре родов записано, что в ночь на четырнадцатое число месяца Ворона из хозяйственной кладовой было выписано два фунта аконита и один фунт чемерицы. Запись сделана от имени лекаря. Аконит не применяется при живом плоде. Чемерица применяется для остановки родов. Если вы поймете, что это значит, я прошу вас сжечь эту записку. Ланн».

Я перечитала дважды. Чувствовала, как под ремешком корзины медленно разгорается тонкая полоска тепла, не боль, не волдырь, просто тепло, как будто печать услышала мое имя и ответила.

— Дарвен, — сказала я, — ты это прочитал.

— Да.

— И ты принес это мне.

— Да.

Я посмотрела на него. Синяк у рта уже почти сошел, но новый, на запястье, был свежий, и я подумала, что он, наверное, ударил кулаком по стене после того, как прочитал. У него было такое лицо, какое бывает у мужчин, когда они узнают, что их использовали не как мужа, а как печать в чужом договоре.

— Кто выписывал аконит, — спросила я.

— В записке стоит подпись лекаря. Лекарь у нас был один, Горт, он умер прошлой зимой.

— Тогда кто подделал его подпись.

Дарвен не ответил. Он смотрел на мою руку, на которой лежала записка, и я видела, как он считает про себя. Потом сказал:

— Я не подписывал выписку. Я был в отъезде.

— Значит, совет.

Он кивнул, очень коротко, не глядя на Теона, но как будто через стену.

Я сложила записку обратно вчетверо и убрала в корзину поверх трав, не под подкладку. Потом подумала и переложила под подкладку, к подмененной странице договора. Две бумаги легли рядом, и я почувствовала под рукой, как у меня сжимается горло.

— Дарвен, — сказала я, — если я предьявлю это совету, Торис скажет, что я подделала записку.

— Поэтому я принес ее сам, — ответил он. — При свидетеле.

Тут он впервые посмотрел на Теона. Не как на кузнеца, не как на человека при доме. Как на свидетеля. Теон выпрямился у стены, и я видела, как у него побелели костяшки на сжатых кулаках, но он не сказал ни слова. Он не умел говорить при Дарвене, и от этого молчания в маленькой лечебнице стало тесно.

— Теон, — сказала я, — ты слышал, что он сказал.

— Слышал, — ответил кузнец.

— Тогда повтори совету, если спросят.

Он кивнул. Дарвен отвернулся и пошел к двери, и я видела, как он идет тяжело, не так, как ходят люди, которые хотят уйти, а так, как ходят люди, которые не знают, куда поставить ноги. У двери он остановился, не оборачиваясь.

— Я буду на совете до тебя, — сказал он. — Если что-то пойдет не так, я уведу их разговором.

— Куда уведешь, — спросила я, — если они не захотят.

— Уведу, — повторил он и вышел.

Я послушала, как его шаги стихают в коридоре, и села обратно на табурет. Левое запястье грелось ровно, и я впервые не стала проверять, не вздулся ли волдырь. Просто сидела и ела холодную кашу, пока Теон стоял у стены и молчал, и это молчание было мне нужно больше, чем любое обещание.

Я положила записку сушиться, потом сложила вчетверо и убрала в корзину под подкладку. Не ему. На стол в кабинете. Он найдет, когда будет один. Мне не нужно было видеть его лицо, когда он прочтет. Мне нужно было, чтобы у него не было повода сказать «я не знал».

Левое запястье грелось ровно, тонким теплом, не болью. Печать не возражала, пока я занималась своим делом. Она возражала, когда я чувствовала на себе его взгляд через три стены.

Я задула свечу и легла на узкую койку в углу, прямо в платье. Корзину поставила у изголовья, обхватив медную пряжку рукой. Если ночью кто-то войдет, я услышу, как звякнет пряжка, раньше, чем скрипнет дверь. Это было мое место, и я больше не собиралась его отдавать.

Глава 4. Общий обед

Я положила бинт на каменный стол, и запах полыни ударил в нос сильнее, чем нужно. Слух ходил по замку третий день, и от него несло так, будто кто-то забыл на кухне мокрую тряпку. Лечебница пахла мятой и дымом, дверь была приоткрыта, и я слышала шаги Брина в коридоре. Он таскал воду с утра и не сказал мне ни слова. Сейчас я разложила на полке три банки с мазью от ожогов и считала про себя, чтобы не сорваться на крик.

Утром у ворот стоял Ивар с перевязанной рукой, мальчишка из кузни. Он обварил запястье кипятком, кожа слезла полоской, и я уже знала, что без чистой повязки ему до вечера не дотянуть. Я подозвала его, он вошел, не поднимая глаз, и сел на табурет у стены. Я разрешила старый рукав его рубахи, смочила ткань холодным отваром ромашки и приложила к ожогу. Он дернулся, но руки не отнял.

— Дыши, — сказала я. — Больно будет до ночи.

Он кивнул, и я заметила, что у него на шее, под воротом, темнеет синяк, похожий на отпечаток чужого кулака. Я не спросила, кто поставил. Знала. В замке сейчас так: кто не успел встать у стены, того прикладывают о стену.

Дверь открылась шире, и я почувствовала, как из коридора тянет чужими духами. Инара. За ней стояла Лотта с подносом, на подносе стоял кувшин и две чашки. Я не повернулась. Я продолжала бинтовать руку Ивара, ровно, виток к витку, и ждала, пока она заговорит первой.

— Госпожа, — сказала Инара, и голос у нее был мягкий, как масло на горячей сковороде. — Мы принесли вам поесть. Вы с утра ничего не брали в рот.

Я промолчала, затянула узел на повязке и отрезала лишнее. Ивар встал, поклонился неловко и вышел мимо Инары, не глядя на нее.

— Спасибо, — сказала я Лотте, не Инаре. Лотта поставила поднос на стол и отступила. Инара осталась стоять у двери, и я почувствовала, как она смотрит мне на руки. Я не отвела взгляд.

— Я слышала, — сказала она, — что вы открываете прием для детей из деревни. По средам и субботам. В зале совета об этом уже говорят.

— Я открываю прием, — ответила я, — потому что лечебница должна работать, а не стоять пустой. Если совет хочет мне запретить, пусть пришлет бумагу с печатью. Не с пересудом.

Она улыбнулась, и улыбка у нее была как у кошки, которая видит, что мышь еще не добежала до норы.

— Бумага будет, — сказала она. — Дядя Торис сказал, что без одобрения совета ни одна гостя не распоряжается хозяйскими запасами. А вы распорядились: ткань, мазь, перевязка.

— Ткань выдала Марта по записке Дарвена. Мазь я сварила из своих трав. Перевязка — это моя работа.

Я подвинула к ней синюю тетрадь, которая лежала на столе, и открыла первую страницу.

— Вот реестр, — сказала я. — Каждая банка, каждый лоскут, каждый виток бинта. Подписано. Если совет хочет проверить, пусть пришлет проверяющего. Я работаю не из их сундука, я работаю из их дома.

Она посмотрела в тетрадь, и я увидела, как у нее дрогнули ресницы. Она не ожидала, что я отвечу не слезами, а счетом. Я закрыла тетрадь и положила руку поверх нее.

— Передайте дяде, — сказала я, — что у меня есть ключ от лечебницы. Не от его кармана. И что если он хочет забрать ключ, пусть пришлет Дарвена. Сам. Без вас.

Она отступила на шаг, и в глазах у нее мелькнуло что-то, что я не сразу разобрала. Не злость. Хуже. Уважение, смешанное с обидой. Она развернулась, и каблучки у нее стукнули по каменному полу два раза, четко, как удары молотка. Дверь закрылась. Лотта осталась.

— Госпожа, — сказала она тихо, — они хотят, чтобы вы уехали.

— Я знаю, — ответила я. — Поэтому я и еду к матери.

Я допила отвар, который она принесла, и поставила чашку на поднос. В коридоре слышались шаги. Я узнала их раньше, чем увидела: тяжелый шаг, от которого чуть подрагивала полка с банками, и запах дыма, холодного камня и тех же чужих духов, что только что стояли в дверях. Я не повернулась. Я знала, что если повернусь, он увидит, как у меня сжимается горло.

Он вошел, и я услышала, как он остановился у порога. Не подошел к столу, не сел. Стоял.

— Ты вернулась, — сказал он, и голос у него был тот самый, первого года брака, усталый и низкий, от которого у меня в груди что-то дрожало, как струна, натянутая слишком туго. — И заварила мазь.

Я не ответила. Я подняла с пола корзину, проверила, на месте ли подкладка, и пошла к двери. Мимо него. Близко, но не касаясь. Я почувствовала, как печать на запястье нагрелась, и кольцо под рукавом стало жечь. Я не остановилась.

— Ужин в общем зале, — сказал он мне в спину. — Совет хочет видеть тебя за столом.

Я дошла до поворота и только там остановилась. У меня дрожали пальцы. Я сжала их в кулак и пошла дальше, к выходу, к повозке, к матери, у которой в кухонном шкафу лежала коробка с документами, а в коробке — детская рубашка тонкого полотна с гербом Вельтов. Я должна была доехать до ночи.

Повозка тряхнула на колдобине, и я проснулась от собственного стона. Печать горела под рукавом ровным жаром, как утюг, забытый на столе. Я перехватила корзину покрепче, проверила ремень и прижала ее к животу. Под подкладкой лежала страница договора, и я чувствовала ее сквозь ткань, как маленькую кость.

Возница, молчаливый мужик в драной шапке, обернулся на мой стон и тут же отвернулся. Он не хотел знать, почему у бывшей жены лорда идет кровь из-под манжета и пахнет железом. У него были свои заботы: лошадь хромала на левую заднюю, и он придерживал вожжи так, будто нес живую рыбу.

Я допила воду из фляги, завинтила пробку и посмотрела на свои руки. Под ногтями темнела полынь, на левом запястье расплывалось бурое пятно, и я не стала его прятать. Если кто спросит, скажу, что порезалась о край корзины. Полуправда, которой здесь верят.

Дом Вельт стоял на пригорке, кривой, обросший сиренью, с покосившимся навесом над крыльцом. Я узнала его раньше, чем увидела трубу. Из трубы тянулся дым, жидкий, ленивый, и я поняла, что мать уже сварила свой утренний отвар. Она всегда варила его сразу, как только просыпалась, и всегда с тем же расчетом: чтобы хватило на меня, если я приеду.

Я сошла у калитки, поблагодарила возницу монетой и постояла, пока повозка не скрылась за поворотом. Потом вошла.

В кухне пахло печным дымом, подгоревшей кашей и старым деревом. Мать стояла у стола, спиной ко мне, и резала хлеб. Я увидела ее руки — сухие, в мелких порезах, с тем же перстнем на правой руке, который я помнила с детства. Она не обернулась. Она знала, что я приехала, потому что я всегда приезжала в одно и то же время, если приезжала вообще.

— Здравствуй, мама, — сказала я.

Она положила нож, вытерла руки о передник и только тогда повернулась. Глаза у нее были мои, серые, в глубоких морщинах, и я увидела в них то, что не хотела видеть. Не жалость. Расчет. Она смотрела на мою корзину, на пятно под рукавом, и считала.

— Садись, — сказала она. — Есть будешь?

— Буду, — ответила я. — Потом разговор.

Она кивнула и поставила передо мной тарелку с кашей, ложку и кружку отвара. Я села, и стул подо мной скрипнул, как живой. Я ела медленно, чтобы она не спрашивала, зачем я приехала, пока я не закончу. Она ждала, стоя у печки, и молчала. Это было ее оружие — молчание, которым она давила лучше любого окрика.

Я доела, отодвинула тарелку и положила руки на стол. Левую она тотчас накрыла своей, и я почувствовала, как печать под рукавом дернулась, как живая.

— Покажи, — сказала она.

Я подвернула манжет. Она увидела бурое пятно, вспухший знак, и я видела, как побелели у нее костяшки пальцев. Она не закричала, не заплакала. Она сжала мою руку так, что мне стало больно, и отпустила.

— Значит, правда, — сказала она. — Не разводят.

— Не разводят, — ответила я. — Пока совет не отменит запись сам, печать не отпустит.

Она села напротив, и я заметила, что она постарела за эти полгода. Не поседела, а словно выцвела. Под глазами лежали тени, и руки у нее дрожали, когда она налила себе отвару.

— Я привезла показать, — сказала я и достала из корзины сверток. Потом достала из-под подкладки страницу. — Тут детская рубашка и страница из договора.

Мать взяла рубашку первой. Она развернула ее медленно, как будто боялась, что ткань рассыплется. Потом поднесла к свету, и я увидела, как она прочла герб. Он был крошечный, вышитый у ворота тонкой серебряной нитью, и она узнала его раньше, чем я успела сказать.

— Это моя работа, — прошептала она. — Я вышивала. На приданое.

— Я знаю, — сказала я.

Она положила рубашку на стол и взяла страницу. Читала она долго, шевеля губами, и я видела, как у нее менялось лицо. Сначала стало пустым, потом каменным, потом таким, каким я его никогда не видела. Злым. Мать у меня не злилась. Она обижалась, жалела, шептала молитвы, но не злилась. Сейчас она злилась, и от этого страшно стало мне.

— Значит, ребенок был, — сказала она наконец.

— Был, — ответила я. — И они это знали. И совет это знал.

— А Лита?

— Литу они через месяц сошлют в полевой лазарет, если я не вернусь и не выпрошу у Дарвена поручительство. Объясни мне, мама, почему я должна выпрашивать.

Она встала и подошла к кухонному шкафу. Я слышала, как она открыла дверцу, как звякнула жестянка, как она вынула коробку и поставила на стол. Коробка была старая, обитая по углам медью, и я знала в ней каждый предмет. Там лежало мое приданое, там лежали документы на дом, и там лежала детская рубашка — другая, моя, которую мать вышивала для меня двадцать лет назад.

— Не выпрашивать, — сказала она и села обратно. — Вернуться как человек, без которого лечебница сгниет. Ты это умеешь.

Я почувствовала, как у меня сжалось горло, и отвернулась к окну. За окном сирень качалась от ветра, и я считала ветки, чтобы не заплакать. Я насчитала семь.

— Я вернусь завтра, — сказала я. — Сегодня ночью переночую у тебя, а утром поеду обратно. Мне нужен чистый лист и твоя печать. Я напишу Дарвену условия сделки и положу на стол в лечебнице, чтобы совет увидел утром. Без подписи, просто бумага. Пусть он сам решит, подписывать или нет.

— А если не подпишет?

Я посмотрела ей в глаза.

— Тогда я увезу Литу к Соль, в деревню, и мы будем жить там. Без рода Каэрн, без печати, без лечебницы. Печать меня не отпустит, но Соль умеет снимать жар.

Мать накрыла мою руку своей, и печать под рукавом стихла, как будто мать ее пригасила. Я не знала, что так бывает. Я отвернулась снова и пошла к лестнице. Мне нужно было в комнату, где пахло старыми травами и моим детством. Мне нужно было сесть и написать Дарвену письмо, в котором не будет ни слова о любви.

Комната пахла старыми травами и моим детством, и я села за стол, на котором еще стояла моя чернильница из обожженной глины. Свеча оплыла с одного бока и застыла янтарной

коркой. Я разложила перед собой чистый лист, мамин перстень-печатку, перо и корзинку с углем. Думать надо было короткими строчками, иначе перо начнет писать то, чего я не хочу.

Я обмакнула перо и вывела сверху: «Условия». Без обращения. Без «милорд», без «сударь», без «Дарвен». Просто «Условия», и пусть он сам прочтет между строк все, что я о нем думаю.

Первый пункт был про лечебницу. «Ключ от лечебницы, переданный из рук главы рода, с правом проверять реестр, перевязочную, кухонный склад и восточную кладовую по средам и субботам. Право на подпись под расходом трав и ткани. Без права продавать остатки на сторону». Я писала медленно, выводя каждую букву, и слышала, как внизу мать греет воду. Второй пункт был про Литу: «Подмастерье гильдии Эрнвуда Лита Вельт получает направление сроком до конца седмицы, с правом выхода в город и правом практики в лечебнице замка под присмотром Марты или меня». Я подчеркнула «или меня» дважды. Третий пункт был про совет: «Совету не входить в лечебницу без моего ведома. Никаких проверок, никаких ревизий без вызова. Лечебница — не реестр рода, лечебница — моя работа». Я усмехнулась собственному слову «моя» и не стала его вычеркивать.

Снизу скрипнула лестница. Мать несла вторую свечу и кружку с отваром, от которой пахло мятой и полынью. Она поставила кружку у моего локтя, заглянула в лист и ничего не сказала. Только кивнула и вышла, тихо притворив дверь. Я знала, что она не одобряет тон, но и не осудит. Она слишком хорошо понимала цену бумаги без подписи.

Я дописала четвертый пункт, самый короткий: «Без права требовать от меня ночей в замке. Спальня — гостевая, в западном крыле. Ключ у меня». Пятый пункт я вывела отдельно, потому что он был про деньги: «Эконом Бран возмещает восемнадцать серебряных за шесть склянок настойки от лихорадки, списанных Лоттой по его просьбе. Расписка при Торисе, до заката». Я перечитала написанное, и у меня защипало в глазах от света свечи, а не от слез. Я знала, что последний пункт Дарвен не подпишет. Он не любит, когда его эконома выставляют перед дядей. Пусть не подписывает. Пусть задумается, откуда я узнала про настойку.

Внизу хлопнула дверь. Я замерла и прислушалась. Шаги были легкие, торопливые, и я узнала их раньше, чем дверь открылась. Лита вошла босиком, в мокром от росы платье, с царапиной на левой щеке, и остановилась у порога. На щеке запеклась кровь, и я видела, что она ее не смывала нарочно, чтобы я заметила.

— Ты уже написала? — спросила она, глядя на лист.

— Почти, — ответила я. — Сядь.

Она не села. Она подошла ближе, наклонилась над столом, и я почувствовала запах речной воды и лошадиного пота. Она где-то бегала ночью, и от нее пахло так, будто она переплывала ручей.

— Это для него? — спросила она, не дождавшись моего ответа.

— Это для замка, — сказала я. — Для лечебницы.

Она усмехнулась, и усмешка у нее вышла точь-в-точь как у Дарвена, когда он говорил мне о «порядке в доме». Я отложила перо и повернулась к ней.

— Покажи щеку, — сказала я.

Она подставила щеку, и я увидела, что царапина неглубокая, но грязная. Я смочила уголок полотенца отваром из кружки и промокнула рану. Лита поморщилась, но не отстранилась.

— Соль меня звала к себе, — сказала она вдруг.

Рука у меня дрогнула. Я промокнула еще раз, чтобы не выдать лица.

— Зачем?

— Она сказала, что у нее видение. Что в замке скоро будет «общий обед». Что за стол сядет тот, кто сейчас стоит у ворот.

Я перестала промокать. «Общий обед» — это было слово из устава Каэрнов, которым они называли примирительный пир после ссоры. Когда глава рода и его брат, или муж и жена,

садились за один стол при свидетелях и ели из одной миски. После такого обеда ссора считалась закрытой, и отказаться от него без причины означало навлечь на себя позор.

— Соль не могла этого видеть, — сказала я. — Она не бывает в замке.

— Она сказала, что в замок придет тот, кто стоит у ворот, — повторила Лита. — И что я должна быть рядом, когда он сядет.

Я отложила полотенце и посмотрела сестре в глаза. У нее были мамины глаза, серые, глубокие, и в них стоял тот же расчет, что и у матери, когда она ставила передо мной тарелку. Лита не хотела ехать к Соль. Лита хотела остаться в замке, где ей дадут платье из восточной кладовой и ключ от комнаты с окном на крыж.

— Умойся, — сказала я. — И ложись. Завтра мы едем в замок вместе.

Она кивнула и вышла, а я снова взяла перо. Внизу страницы, после пятого пункта, я приписала шестой, самый маленький: «Если в замке будет объявлен общий обед, я сяду за стол. Один раз». Я поставила точку, подумала и не стала приписывать «без поцелуев». Это было бы уже слишком.

Я посыпала лист песком, подула и отложила в сторону. За окном сирень качалась от ветра, и я снова стала считать ветки. Насчитала двенадцать. Потом сложила лист вчетверо, запечатала маминым перстнем и положила под подкладку корзины, рядом с подмененной страницей. Пусть до утра полежит вместе с чужими тайнами. Утром я отвезу их обе в замок, и пусть Дарвен сам выбирает, с какой из них начать.

Повозка тряслась на камнях уже второй час, и я считала не ветки за окном, а собственные вдохи, потому что печать под рукавом жгла ровно и сильно, без передышки. Корзина стояла у моих ног, ремень я обернула вокруг щиколотки, чтобы при толчке она не уехала на пол. В корзине лежали запечатанное письмо с условиями, подмененная страница, свернутый вчетверо реестр лечебницы за три года, пучок сухой мяты и две чистые тетради в кожаных обложках. Лита сидела рядом, привалившись к моему плечу, и делала вид, что дремлет. Она не дремала. Я видела, как подрагивали ее ресницы.

Возница, молчаливый мужик из деревни Вельт, обернулся только один раз — спросить, не съехать ли на объезд, потому что дорогу размыло. Я сказала «поезжай как есть», и он кивнул. Печать под рукавом польхнула так, будто кто-то ткнул в нее раскаленной иглой. Я стиснула зубы и не шевельнулась. Лита приоткрыла один глаз и посмотрела на мою руку. Я убрала руку под плащ. Не хватало еще, чтобы сестра считала мои волдыри и потом пересказывала их матери за ужином.

К полудню мы увидели башни Каэрна. Они торчали из-за крыжа, как три грязных пальца, и я вспомнила, как в первый год брака считала их красивыми. Теперь они напоминали мне о цене, которую дом берет за крышу. На подъезде к воротам возница придержал лошадь. Я спросила, почему он остановился. Он показал глазами на верхнюю стену. Там, у бойницы, стоял Дарвен и смотрел вниз. Не на повозку. На дорогу за повозкой, будто ждал кого-то еще. Потом он перевел взгляд на меня, и я разглядела на его лице ту же усталость, что и три года назад, когда я возвращалась из дома матери с пирогами.

Ворота открыли без окрика. Это было хуже всего — когда замок Каэрн открывал ворота без окрика, значит, внутри уже знали, кто едет, и успели подготовить мне прием. Я спрыгнула с повозки сама, не дожидаясь помощи, подхватила корзину и поправила ремень. Лита соскочила следом, одернула подол и встала рядом со мной, как будто мы всю жизнь ездили в замок вместе. У нее на щеке розовела вчерашняя царапина, и я машинально отметила, что рана не загноилась.

Во дворе пахло холодным камнем и конюшной. Марта ждала у крыльца, и я обрадовалась ей так, как не радовалась никому в этом доме. Она стояла, скрестив руки, в переднике, перепачканном мукой, и вид у нее был такой, будто она не спала всю ночь. Рядом, на почтительном

расстоянии, переминался Брин с ведром чистой воды. Он посмотрел на меня, потом на Литу и отвернулся, делая вид, что считает лошадей.

— Госпожа, — сказала Марта, и в голосе у нее было столько невысказанного, что я поняла: что-то случилось до нашего приезда.

— Говори, — сказала я.

— Общий обед, — выдохнула она. — На закат. Лорд объявил утром, совет не возражал. За стол сядет он и та, что вернулась.

Я переложила корзину в другую руку и посмотрела на верхнюю стену. Дарвен уже ушел с бойницы. Там, где он стоял, осталось только светлое пятно на камне.

— Кто будет за столом? — спросила я.

— Торис, Инара, я, Брин, — Марта замялась. — И та девочка, которую вы не знаете.

Я почувствовала, как печать под рукавом дернулась. Лита рядом вцепилась в мой локоть и прошипела «какая девочка», но я не ответила, потому что в этот момент дверь замка открылась и на крыльцо вышла Инара. На ней было серое платье с серебряной вышивкой по вороту, волосы убраны под сетку с жемчугом, и от нее пахло чужими духами — сладкими, тяжелыми, как в часовне. Она посмотрела на меня, потом на корзину у моих ног, потом на Литу, и я прочла в ее глазах тот самый расчет, который видела в глазах сестры сегодня утром.

— Добро пожаловать домой, — сказала Инара, и каждое слово у нее было отглажено, как монета. — Лорд ждет вас в малой зале. Он просил передать ключ лично.

Она протянула мне связку ключей на серебряном кольце. Я посмотрела на ключи, потом на Инару, потом на Марту. Марта едва заметно кивнула. Я взяла связку, не коснувшись руки Инары, и сунула ее в карман плаща.

— Передай лорду, что я буду готова к закату, — сказала я. — И пусть к этому времени в зале не будет ни одной лишней миски. Я не сяду за стол, где считают, кому сколько положить.

Инара улыбнулась так, словно я сказала ей комплимент, и ушла обратно в замок. Марта посмотрела ей вслед и сплюнула в сторону.

— Девочка, — повторила я.

— Внучка Брана, — тихо сказала Марта. — Привезли вчера ночью. Говорят, она племянница покойной жены лорда.

Я почувствовала, как печать обожгла мне запястье до самого локтя. Я посмотрела на корзину у своих ног, на ключи в кармане, на Литу, которая все еще держала меня за локоть, и поняла одну простую вещь: за «общим обедом» меня будут не приглашать, а раздевать — снимать с меня кожуру гостьи слой за слоем, пока под ней не останется то, что они смогут предъявить совету как доказательство моей вины. И единственный способ этого не допустить — сесть за стол первой, на своих условиях, и не дать им рта раскрыть.

— Лита, — сказала я, — пойдём. Нам нужно переодеться.

Глава 5. Письмо из архива

Ключница Марта встретила меня в дверях кладовой, как будто я пришла красть собственные банки с пустырником. Руки у нее были мучнистые, фартук завязан крест-накрест, и она даже не подвинулась, пока я не показала ей записку Ланна.

— Делай как знаешь, — прочитала она вслух, поджала губы и посторонилась ровно на ширину корзины.

Я вошла, и пахло старым воском, засохшей мятой и чужим одеколоном — резким, сладковатым, явно не из замковой аптеки. Сначала я решила, что это Дарвен, но потом поняла: духи тянулись не от моего рабочего места, а от восточной полки, где раньше лежали мои личные коробки. Кто-то трогал их. Кто-то перебирал.

Полка была сдвинута на палец вправо, и на краю синей обложки остался отпечаток пудры — светлый, перчаточный. Я погладила пальцем след и тихо выругалась. В моей лечебнице рылся кто-то, кому не лень было снимать перстень, чтобы не оставлять клейма, но лень было надеть чистые перчатки. Пудра лежала на моих вещах, и этого хватило.

На полу под полкой валялась оброненная катушка ниток, а рядом — обрывок тонкой бумаги, явно вырванной из реестровой книги. Я подняла его, поднесла к окну. Половина строчки: «...выдано по списку лорда...» Остальное оборвалось по сгибу. Мелким, наклонным почерком, каким у нас в замке никто не писал, кроме покойного казначея. Или кого-то, кто очень старался быть на него похожим.

Я знала, что нельзя оставлять улику на полу. Знание пришло раньше страха, потому что страх я себе запретила еще в повозке. Сунула обрывок под подкладку корзины, поверх мяты, рядом с подмененной страницей договора, и почувствовала, как корзина стала тяжелее не на бумагу — на ответственность.

В дверях заскрипело. Я не обернулась сразу — закрыла замок, проверила засов, сосчитала про себя до трех. Потом обернулась.

Лотта стояла в коридоре с полотенцем через плечо, волосы выбились из-под платка, и лицо у нее было такое, будто ей предстоит отвечать за чужой долг. Она смотрела не на меня — на корзину, на мою руку с ключом, и я видела, как она быстро прикидывает, сколько я уже успела пересчитать.

— Госпожа, — сказала она, и слово у нее вышло таким же жестким, как у Инары.

Я ничего не ответила. Просто вышла, заперла дверь своим ключом, повесила связку на пояс и пошла к лечебнице. Мне нужно было записать, сколько пузырьков с настойкой от лихорадки стояло на полке и сколько стоит сейчас. Шесть штук. Восемнадцать серебряных, которых в кассе кладовой уже не было. Это был счет, который Бран оплатит до заката, если не хочет, чтобы совет узнал, куда уходили деньги.

— Лотта, — окликнула я, не оборачиваясь. — Пирожки с требухой сегодня с уличной продажи, как обычно?

Она замерла. Я услышала, как она втянула воздух.

— Госпожа, вы же понимаете, что у кухни своя смета, — сказала она, но голос у нее дрогнул.

— Своя, — согласилась я. — Вот и давайте по ней и жить. Завтра я буду проверять реестр муки и масла. Марта подтвердит.

Лотта промолчала, и в этом молчании я услышала ровно то, что хотела: она уже поняла, что пирожки кончились. Я не стала дожидаться, пока она выдавит извинение. У меня не было на это ни времени, ни желания.

В лечебнице было холодно. Окна запотели, на столе стояла миска с водой, в которой плавала марля, забытая кем-то с вечера. Я вылила воду, протерла стол, поставила на огонь медный

таз для повязок. Руки у меня не дрожали, и это было, пожалуй, самое странное открытие за утро. Я думала, что после ночи, проведенной в дороге, после крови на рукаве и печати, пульсирующей второй веной, я буду разбита. А я стояла в своей лечебнице и точно знала, какой пузырек взять первым.

Ланн появился без стука, когда я заворачивала второй рулон. Он положил на край стола сложенный вчетверо лист — копию старой записи реестра, сделанную его рукой, мелкой и точной, с двумя подписями: лекарь, принимавший роды, и кто-то из совета под словами «выдано по списку лорда». Вторая подпись была почти нечитаемой, но я узнала наклон. Торис.

Ланн смотрел на меня, не мигая. Я знала, что он не скажет ни слова, пока я сама не спрошу. Спросить я не могла: за дверью топтался Брин с ведром, за стеной Лотта гремела сковородой, а в коридоре пахло одеколоном, который я не носила три года. Я спрятала копию в корзину, поверх мяты, и прижала ее ладонью. Под подкладкой теперь лежало три листа, и каждый стоил чьей-то головы.

— Проверь, — сказала я Ланну. — Сначала проверь. Потом решим.

Он кивнул и ушел, оставив на столе отпечаток влажного пальца.

Я села за стол, открыла синюю тетрадь и записала первое: «Среда, утро. Шесть склянок настойки от лихорадки списаны Лоттой по просьбе эконома Брана. Восемнадцать серебряных. Подмена пустырника дешевой травой — три мешка за последний месяц. Итого к возврату: двадцать четыре серебряных». Подняла голову и посмотрела на дверь, за которой слышались шаги.

Это была моя лечебница, мой реестр, моя работа, и впервые за три года я точно знала, с чего начну завтра.

Брин заглянул в дверь, не постучав, и у него в руках было ведро с водой, в которой плавала щепка. Я кивнула на лавку у стены, он поставил ведро, вытер ладонь о штаны и остался стоять, как будто ждал, пока я разрешу ему дышать.

— Закрой дверь, — сказала я. — Сядь. Слушай.

Он сел на край лавки, колени свесил, руки положил на колени, и я видела, как у него дернулся подбородок. Ему было лет четырнадцать, может, пятнадцать. Подмастерье из приюта Каэрнов, сирота, который считал, что если будет молчать и таскать воду, его оставят в покое. Не оставят. Его первым спросят, когда совет захочет найти, кто открыл дверь Марте.

— В среду, — сказала я, — в лечебницу придут дети из деревни. Я буду принимать бесплатно. Ты подашь воду, сможешь снять повязку, подашь бинт. Если кто спросит — ты помогаешь мне, потому что Марта попросила. Понял?

Он кивнул, но глаза у него метнулись к двери.

— Госпожа, — сказал он, и у него дрогнул голос, — а если узнают, что я был?

— Узнают, — согласилась я. — Но ты был по моему приказу, а не по своей воле. Это разница. Эту разницу я запишу в тетрадь и подпишу. Спорить со мной совет не сможет, а с тобой — сможет. Поэтому слушай меня и не геройствуй.

Он сглотнул, но кивнул еще раз. Я поставила перед ним миску, налила воды из ведра, положила сухой бинт.

— Покажи, как ты мотаешь повязку.

Он начал мотать. Руки у него были ловкие, пальцы цепкие, и я впервые подумала, что из него может выйти лекарь, если его не сожрут раньше. Я смотрела на его руки и думала о том, что через год-два совет спросит, чей он, и кому-то очень захочется, чтобы он оказался сыном Дарвена от случайной связи. Мне нужно было, чтобы к тому времени у него было свое имя, своя подпись, своя тетрадь.

— Хватит, — сказала я, когда он затянул третий виток. — Вот так и будешь. Среда, суббота, с утра.

Он спрятал бинт в карман и вышел так же тихо, как вошел. Я посмотрела ему вслед и подумала, что в этом замке все ходят на цыпочках, потому что боятся разбудить чужую тайну.

В дверь постучали. Я не сразу ответила — прижала ладонь к корзине, проверила, плотно ли закрыта подкладка. Под подкладкой лежало три листа, и каждый стоил чьей-то головы. Только после этого я сказала:

— Открыто.

Вошла Марта, и с ней был Дарвен.

Он остановился у порога, как будто не рассчитывал, что я буду здесь. Я увидела, как он скользнул взглядом по корзине, по моей руке, по тетради, и я намеренно не закрыла страницу. Пусть смотрит. Пусть видит, что я считаю. В этой лечебнице я — казначей, и он мне не начальник.

— Госпожа, — сказала Марта, и голос у нее был ровный, хозяйский, — Лорд Каэрн принес бумагу для Литы.

Дарвен шагнул вперед и положил на стол сложенный втрое лист. Я не взяла его сразу — сначала посмотрела на него. Лицо у него было то же, что вчера: бледное, с тенью у рта, как будто он не спал. На воротнике — запах чужих духов, сладковатый, с нотой полыни. Не моих. Я не носила такие три года.

Я развернула бумагу. Это было направление для Литы в гильдию Эрнвуда, с печатью Дарвена, с датой, с подписью. Срок — до конца недели. Значит, он не забыл. Значит, он все-таки сделал то, что обещал у лечебницы вчера.

— Хорошо, — сказала я, и это прозвучало ровнее, чем я хотела. — Спасибо.

Он не ушел. Он стоял у стола и смотрел на мою руку — левую, с печатью, которую я привычно прятала под рукавом. Я не убрала руку, не спрятала, не отодвинулась. Просто продолжила писать в тетради: «Среда, утро. Брин — подсобный, Марта подтвердит. Лита — направление в гильдию до конца недели».

— Ты не отдашь мне ключ, — сказал он тихо, и это не было вопросом.

Я подняла голову.

— Ключ от лечебницы, — уточнила я, — я получила по решению совета. Ключ от кладовой мне дала Марта, с твоей запиской. Если у тебя есть возражения — напиши их в реестр, и я учту.

Он чуть двинул подбородком, и я увидела, как у него сжалась челюсть. Я знала эту его складку — у рта, слева. Она появлялась, когда он злился на себя, а не на меня. Когда он понимал, что я права, и злился от этого.

— Не возражений, — сказал он. — Я хочу знать, что ты едешь к матери.

Я отложила перо.

— Да, — сказала я. — Еду. Сегодня после обеда. Вернусь к вечеру. Если совету нужна моя подпись по реестру — пусть присылают записку, я распишусь завтра.

Он посмотрел на меня, как будто хотел сказать что-то еще, но передумал. Я видела, как он подбирает слова, как он их роняет, как он злится, что у него не получается. Дарвен умел командовать, умел молчать, умел приказывать. Он не умел просить.

— Возьми повозку, — сказал он наконец.

— У меня есть ноги, — ответила я, и он отвернулся, и я увидела, как у него на скулах проступил румянец.

Марта кашлянула.

— Госпожа, — сказала она, — я соберу вам с собой пирог и термос. Дорога нынче скверная, грязь по ступицу.

— Спасибо, Марта, — сказала я. — С мятой, если есть.

Она кивнула и вышла. Дарвен остался. Он стоял у стола, и я видела, что он смотрит на корзину, и я знала, что он чувствует запах моей мяты и старой кожи, и что ему хочется спро-

сать, что я храню под подкладкой. Он не спросит. Он никогда не спрашивает, он приказывает, а приказать мне он сейчас не может.

— Я поеду, — сказала я. — Если что-то случится — пришли записку через Бриана, не через совет. Совет пусть пишет в реестр.

Он кивнул, и в этом кивке было что-то новое, чего я не видела три года назад. Не покорность. Не согласие. Просто признание, что я — в этом доме, в этой лечебнице, за этим столом — человек, с которым считаются.

Он ушел. Я посидела минуту, глядя на закрытую дверь, и подумала, что это был первый раз за три года, когда он ушел, а я не почувствовала облегчения. Только усталость и странную пустоту в груди, как будто оттуда вынули что-то, что я привыкла считать своим.

Я записала в тетрадь: «Среда, утро. Дарвен принес направление для Литы. Срок — до конца недели. Духи — не мои. Ключ не отдавать. Поездка к матери — сегодня после обеда».

Потом закрыла тетрадь, сунула ее в корзину поверх мяты, поверх трех листов, и пошла к Марте за пирогом.

За окном кто-то топтался в коридоре, и я не стала оборачиваться. У меня была работа, и она впервые за три года была моей.

Дорога обратно к дому матери заняла половину дня. Возница, молчаливый человек с обветренным лицом, не спросил, зачем меня несет в Вельты, и от этого стало чуть легче. Я сидела в повозке, корзину держала между колен, и под подкладкой лежали три листа, копия записи реестра и направление для Литы. Пальцы сами сжимали медную пряжку, и я чувствовала, как под рукавом тянет печать — не жжением, а глухим теплом, как будто кто-то приложил к запястью горячий камень и забыл убрать.

К дому Вельт мы подъехали, когда солнце уже сползло за кряж. Мать вышла на крыльцо раньше, чем я успела спрыгнуть. Она посмотрела на меня, на корзину, на мою руку и не стала обнимать. Только кивнула и забрала термос.

— Лита в комнате, — сказала она тихо. — Она знает, что ты приехала, и делает вид, что не ждет.

— Пусть делает вид, — ответила я.

Мы прошли в кухню. На столе стоял вчерашний суп, хлеб, и кружка с остатками полыни. Мать налила мне чай, села напротив и ждала. Она умела ждать так, что любой вопрос казался лишним. Я вытащила из корзины копию записи реестра, разложила на столе и придавила пальцами, чтобы не скользила.

— Читай, — сказала я. — Только медленно.

Она надела очки, подвинула свечу ближе. Я смотрела, как она шевелит губами на строчке «выдано по списку лорда», как ее пальцы замирают на чужой мелкой подписи под лекарской строкой. Она не подняла голову, но я увидела, как побелели костяшки.

— Это его рука, — сказала она наконец. — Ториса. Я узнаю эту подпись. Он так подписывал все хозяйственные листы, когда Дарвен был в отъезде. Мелкий крючок внизу, и хвостик вправо.

Я кивнула. Я и сама уже догадалась, но мне нужно было услышать это вслух.

— Что это значит, — мать подняла на меня глаза, — что лекарь, который принимал у тебя роды и записал мертвого ребенка, делал это не по приказу Дарвена. Он делал это по списку Ториса. А Дарвен узнал правду через три года, когда совет уже вынес тебе приговор.

— Значит, — сказала я, — совет знал с самого начала. Не Дарвен — совет. Торис заказал запись, чтобы спрятать настоящие роды и продать Дарвену новый союз. А когда родилась дочь и ее отняли у меня под предлогом «мертворожденной», им нужно было только, чтобы я молчала и ушла.

Мать сложила руки на столе, и я увидела, что у нее дрожат пальцы.

— Где она, — спросила она. — Где девочка. Ты знаешь.

— Нет, — сказала я. — Пока не знаю. Ланн дал мне копию и попросил сначала проверить. Я проверяю. Это первый след, мама. Не последний.

Она откинулась на спинку стула и прижала ладонь к губам, как делала, когда мне было пять и я спросила, почему отец не вернулся с войны. Потом она заговорила — ровно, тихо, как будто решала, что можно сказать, а что нет.

— Когда тебя привели в лечебницу после родов, — сказала она, — тебя несли через черный ход, и свидетелей было трое: лекарь, Торис и Марта. Марта потом рассказывала мне, что ребенок кричал. Громко. Она сказала, что такого крика она в жизни не слышала. Потом в коридоре стало тихо, и ей сказали, что ребенок родился мертвым.

— Ты не пошла проверять, — сказала я. Это не был вопрос.

— Меня не пустили, — ответила она. — Мне сказали, что по уставу мать нельзя впускать в лечебницу раньше третьего дня. Так написано в уставе для чужих родов. Я чужая, Нерис. Я — мать жены, но я — Вельт, и я не Каэрн.

Я отложила копию реестра и аккуратно положила поверх нее направление для Литы.

— Значит, — сказала я, — когда я завтра приеду в замок, я положу эту бумагу на стол Торису и попрошу объяснить, по какому праву он подписывал лекарские списки, не имея печати главы рода. И я потребую, чтобы совет собрался в полном составе, включая Дарвена. И я спрошу вслух, кому он отдал мою дочь.

Мать посмотрела на меня. В глазах у нее было то, что я не видела три года — не жалость, не страх, а та самая ярость, которая однажды в этом доме заставила ее выгнать лекаря, посмевшего назвать Литу «неродовитой».

— Ты уверена, — спросила она.

— Да, — сказала я. — Я три года молчала, потому что мне сказали, что ребенок умер, и я поверила. Теперь у меня есть подпись, и есть голос, и есть направление для Литы в гильдию, которое я не отдам обратно. Я войду в совет, потому что без меня совет не сможет купить молчание у Марты. А Марта не продаст, я знаю.

В дверях скрипнуло. Лита стояла босиком на пороге, в ночной рубашке, и смотрела на мою корзину. Я не стала прятать бумагу. Она уже не ребенок. Она — почти лекарь, и я не имею права врать лекарю.

— Что это, — спросила она.

— Твоя сестра, — сказала мать, не оборачиваясь, — нашла доказательство, что у нее родилась дочь и что дочь спрятали от совета. Не умерла.

Лита стояла очень тихо. Я видела, как она переводит взгляд с меня на мать, с матери на корзину, и как у нее меняется лицо — медленно, как у человека, который считал, что знает правила, и вдруг увидел, что правила были нарисованы мелом на мокром полу.

— Ты вернешься, — сказала она наконец, и это был не вопрос. — Ты вернешься в замок и потребуешь ее обратно.

— Да, — сказала я. — И ты поедешь со мной, потому что у тебя есть направление в гильдию, и я не собираюсь оставлять тебя здесь одну, когда в замке будут рыться в архивах.

Лита сглотнула, потом кивнула. Мать встала, обошла стол и впервые за этот вечер прижала меня к себе — коротко, крепко, по-мальчишески. Я вдохнула запах полыни и хлеба, и у меня впервые за три года зашипало в носу.

— Поешь, — сказала она мне в висок. — Дорога длинная, а ты еще не села.

Она отстранилась, забрала у меня корзину и понесла к печке. Я слышала, как она ставит чайник, как шуршит чугунная заслонка, и подумала, что завтра утром я сяду в повозку не одна, а с младшей сестрой, у которой есть направление в гильдию и имя, которое я не дам стереть совету.

Ночь в доме Вельт пахла иначе, чем в замке. Здесь пахло печкой, мокрой шерстью и тем хлебом, который мать пекла по средам, когда у отца был выходной. Я лежала на узкой кровати

у стены и слышала, как за перегородкой возится Лита, как скрипит сундук, как она что-то шепчет себе под нос, перебирая вещи. Корзина стояла у меня в ногах, под рукой, и я клала ладонь на двойное дно каждый раз, когда печать на запястье тянуло обратно к замку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.